

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ
«РУССКИЙ БУКЕР ДЕСЯТИЛЕТИЯ»

Георгий

ВЛАДИМОВ

*Генерал
и его армия*

Р о м а н

Георгий Владимов

Генерал и его армия

«WebKniga»

1995

УДК 821.161.1-3
ББК 84Р7-4

Владимов Г. Н.

Генерал и его армия / Г. Н. Владимов — «WebKniga»,
1995

«Генерал и его армия» голосованием всех председателей жюри премии «Русский Букер» назван лучшим русским романом последнего десятилетия XX века. Наряду с главным вымышленным героем, советским генералом Кобрисовым, в романе действуют многие исторические персонажи, среди которых Сталин, Жуков, Хрущев, Ватутин... Особое внимание писателя привлекают фигуры немецкого генерала Гудериана и русского генерала-изменника Власова. Столкновение воли и характеров, пересечение военных судеб трех генералов придают роману особую глубину и достоверность. «Очень значительная книга. От первых же страниц удовлетворение: настоящая литература... За необъятную тему советско-германской войны Владимов взялся не только как художник, но и как самый ответственный историк» (Александр Солженицын).

УДК 821.161.1-3
ББК 84Р7-4

© Владимов Г. Н., 1995
© WebKniga, 1995

Содержание

Марина Владимова	6
Генерал и его армия	26
Глава первая	26
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Георгий Владимов

Генерал и его армия

© Георгий Владимов, наследники, 2016

© Валерий Калныньш, макет и оформление, 2016

© «Время», 2016

Марина Владимова

Мой отец – Георгий Владимов

Меня попросили написать об отце. К сожалению, мы были вместе очень мало – всего каких-то десять лет. Все годы меня не покидало чувство, что надо записывать все, о чем рассказывал отец, что это слишком значимо: память человеческая – штука ненадежная. Не записала. Теперь пишу по памяти, жалкие кусочки того, что запечатлелось, – но спасибо, что остались хоть они.

Как и когда мы с ним познакомились? Звучит, конечно, невероятно, но соответствует действительности – мы узнали друг друга только в 1995 году, на вручении отцу литературной премии «Русский Букер», когда мне было уже тридцать три года. А до этого были только письма. Письма в Германию из Москвы и обратно.

Как отец оказался в Германии?

В 1983 году по приглашению Генриха Бёлля отец уехал читать лекции в Кёльн. К тому времени уже лет десять в России у него ничего не издавалось. Ранее он стал председателем «Международной амнистии», писал письма в защиту Андрея Синявского и Юрия Даниэля, дружил с Андреем Сахаровым, Еленой Боннэр, Василием Аксеновым, Владимиром Войновичем, Беллой Ахмадуллиной, Фазилом Искандером, Булатом Окуджавой, Виктором Некрасовым, был знаком с Александром Солженицыным, Александром Галичем, Владимиром Максимовым, Сергеем Довлатовым, Юрием Казаковым, Юрием Любимовым, Владимиром Высоцким и многими другими. Постепенно он стал жить «поперек», а таких вещей советская власть спокойно выдержать, а уж тем более простить – не могла.

Потихоньку его выживали, травили: исключили из Союза писателей, куда он был принят еще в 1961 году; затем стали публиковать клеветнические статьи в «Литературной газете» (главный рупор СП тех лет), которые радостно приветствовали некоторые «писателя» (так их называл отец). А потом устроили слежку за его квартирой и гостями, ее посещавшими. Об этом отец пишет подробно в своем рассказе «Не обращайтесь вниманья, маэстро!».

Как могли ему простить глубочайшую внутреннюю независимость и самодостаточность? Как-то после своего возвращения в Россию он сказал мне: «Ты знаешь, не пойду я на это сборище, терпеть не могу любые тусовки, зачем тратить на это время? Писатель должен писать, а не болтать и тусоваться. Я всегда считал, что не нужно входить ни в какие партии и объединения, все это ерунда, – поэтому я всегда был беспартийным и свободным».

Так отец ответил на мой упрек – я упрекала его в том, что он не идет на какой-то очередной литературный вечер, где собиралась литературная элита тех лет и куда его пригласили заранее для вручения статуэтки Дон Кихота – «символа чести и достоинства в литературе».

Я же, испорченное дитя советской действительности, полагала, что там могут встретиться «полезные люди», которые помогут ему получить от государства хотя бы маленькую квартирку. Ведь получил же Владимир Войнович прекрасную четырехкомнатную квартиру в Безбожном переулке по указу Михаила Горбачева!

Как могли ему простить, к примеру, дружбу с опальным Сахаровым, когда от того знакомые отшатывались, как от чумного? Отец старался хоть чем-то помочь в те времена Андрею Дмитриевичу, иногда выступая даже в качестве его водителя. Вспоминается забавный (это он сейчас забавный!) случай, рассказанный отцом: во время поездки (кажется, в Загорск) внезапно оторвалась дверца любимого старенького отцовского «запорожца». При чем на полном ходу... Все замерли. А Сахаров всю оставшуюся дорогу невозмутимо держал злополучную дверцу, продолжая разговор на какую-то интересную для него тему.

С этим «запорожцем» была связана еще одна, более опасная история. Однажды во время загородной поездки мотор у машины вообще заглох, а когда отец заглянул в ее нутро, то обнаружил, что в бак для топлива засыпан почти килограмм сахарного песка, отчего машина и отказывалась ехать. Отец был уверен, что это не случайность, это сделано заинтересованными сотрудниками «бугра», как называли тогда вездесущую организацию, отвечающую за государственную безопасность СССР, но, конечно, прямых доказательств у него не было. С огромным трудом ему удалось очистить бак от этой гадости...

В 1981 году после допросов на Лубянке у отца случился первый инфаркт, потом новые допросы и намек на то, что допросы возобновятся. Все могло кончиться посадкой (лексикон тогдашних диссидентов). В это время отец уже начал писать «Генерала и его армию». Надо было спасать свое дело, свою жизнь. Спасибо Бёллю!

Но, уезжая из страны, отец не думал, что уезжает надолго, максимум на год. Через два месяца после приезда в Германию отец и Наташа Кузнецова (его вторая жена) по телевизору услышали указ Андропова о лишении его гражданства. Кооперативную квартиру Наташиной мамы они продали перед отъездом в Германию, а квартиру отца правление кооператива продало само, не спрашивая на то его разрешения.

Через друзей в издательстве «Текст», в котором выходила повесть отца «Верный Руслан», я узнала его немецкий адрес. Написала ему. Написала, что мне от него ничего не нужно – я уже вполне состоявшийся человек, врач, учусь в аспирантуре, есть квартира, друзья, но как это странно – на такой маленькой планете Земля живут два родных человека и ничего не знают друг о друге. Отец ответил, мы начали переписываться. В 1995 году он приехал в Москву на вручение Букера за роман «Генерал и его армия». Номинировал его журнал «Знамя», где печатались главы романа. Отец был очень благодарен сотрудникам «Знамени» за то, что именно они первыми способствовали возвращению его творчества на Родину. Он хотел, чтобы и последний его роман «Долог путь до Типперэри» был напечатан у них, журнал несколько раз давал анонс этому произведению. Увы! Только первая часть романа была напечатана, уже после смерти отца. Другие остались в замыслах; кое-что он рассказал мне.

Отец позвал на вручение премии и меня. Перед этим я побывала у него в гостях – в квартире Юза Алешковского, который пригласил отца пожить у него на все время его пребывания в Москве.

Своей квартиры у отца больше не было. Он остался бездомным. В 1991 году Горбачев своим указом вернул ему гражданство, но не жилье... Правда, в 2000 году Международный литературный фонд писателей предоставил отцу в аренду дачу в Переделкине. Отец очень любил эту не совсем свою дачу, но Господь мало позволил ему наслаждаться покоем и счастьем на Родине.

До этого дача много лет простояла пустая, потихоньку осыпаясь и рушась, в ней постоянно что-то где-то подтекало; отец смеялся и говорил, что живет в «Петергофе с большим количеством фонтанов». Это был двухэтажный кирпичный дом, больше смахивающий на барак, с четырьмя подъездами. Рядом с подъездом отца были подъезды, где жили Георгий Поженин, дочь Виктора Шкловского с мужем, поэтом Панченко. Третьего соседа я не помню.

История дачи была романтической и печальной одновременно. Оказалось, что этот писательский дом построен на месте дачи актрисы Валентины Серовой. Ее дача была окружена небольшим садиком, сохранился маленький прудик, в котором, по преданию, она любила плавать. Отец говорил, что представляет себе, как Серова перед спектаклями купается в пруду и что-то тихо напевает. Тогда он и рассказал мне историю романа Серовой и маршала Рокоссовского, во время которого Сталина якобы спросили, как относиться к самому факту этой связи (оба были женаты). Сталин ответил коротко и исчерпывающе: «Завидовать!».

После развода Серовой и Симонова дача пришла в запустенье, Литфонд снес старый дом, построив дачу для писателей.

Во времена отца сад невероятно разросся, в него выходила дверь кухни с террасой. Стояли высокие темные деревья, трава заполонила все пространство. Пруд был затянут густой зеленой тиной, было мрачно, летали страшно прожорливые комары. Отец все пытался как-то справиться с запустением: убрал сгнившие ветки, сломанные деревья, подстриг кусты, скошил кое-где траву, в окна его кабинета стало заглядывать солнце.

Напротив своих окон он расчистил кусочек земли, на котором попытался разбить огород – посадил укроп, редиску и салат. В свой последний год в России, уже слабый и смертельно больной, отец с гордостью показывал мне пробивающиеся ростки, предвкушая урожай. Увы! Он уехал в Германию, так и не дождавшись его... Но немного радости ему садик подарил – в последний год отец не мог, да и не хотел писать. Ему нравилось возиться с землей да потихоньку разбирать какую-то деревянную «халабуду» (слово отца) позади дома, на месте которой он мечтал построить гараж с ямой.

За воротами, на входе сохранилась двухэтажная кирпичная сторожка, где, видимо, в свое время сидела охрана, решающая, кого можно допустить перед светлые очи Серовой и Симонова. Вокруг всей дачи шла крепостная стена, а прямо напротив подъезда отца в ней открывалась чудесная таинственная дверь, окруженная высокими деревьями и душистыми травами. Пели соловьи, иногда вторя колокольному звону – через дорогу находилась дача Патриарха со старенькой переделкинской церковью.

В первый год, получив пустую дачу, где не было ничего, кроме стен и старой, сгнившей кухонной мебели, отец с энтузиазмом взялся ее обустроить. В свой кабинет купил большой письменный стол с удобным креслом (а что еще нужно писателю!), диванчик, пятирожковую люстру (в доме было темно). В две другие комнаты поставил два дивана для гостей и шкаф-купе, который он сам собрал. Отец очень любил все делать своими руками, получая от этого, похоже, не меньше удовольствия, чем от писательского труда.

Я подарила ему «вольтеровское» кресло – оно обосновалось в коридоре на первом этаже, отец любил сидеть в нем, разговаривая по телефону.

На кухне отец установил стенку, холодильник, повесил низкую плетеную люстру, поставил стол с длинными деревянными скамейками, на которых мало кто успел посидеть – отец прожил на даче всего четыре сезона...

На террасе, куда выходила дверь кухни, отец поставил маленький мангал, и несколько раз жарил на нем шашлык, попивая водочку с соседом-приятелем, чудесным поэтом Григорием Поженяном. Именно благодаря Поженяну отец и получил дачу – однажды он приехал к нему в гости в Переделкино и был очарован красотой, тишиной и покоем этого места. Обратился за помощью в Международный литфонд, ему не отказали; большую роль в этом сыграл Поженян, замолвивший словечко.

Мы встречали Новый 2000-й год вместе с Поженяном и его женой, в большой компании. Чудесный был Новый год! Поженян читал свои стихи, много рассказывал о себе – рассказчик он был не менее талантливый, чем поэт. Моя память сохранила только некоторые фрагменты. Например, его рассказ об освобождении Одессы, где он воевал (написав потом сценарий замечательного фильма «Жажда»), а потом – как обнаружил памятник погибшим освободителям города и нашел там свою фамилию (его по ошибке тоже сочли погибшим). Или рассказ о том, как за «пьянку и аморальное поведение» в студенческие времена его с позором выгнали из Литературного института, грозно сказав: «Чтобы ноги вашей не было в стенах нашего заведения!» После чего он вошел в институт на руках, не нарушив формально предписания!

Поженян рассказал, что Юрий Олеша ласково называл его в письмах «мой дорогой бочонок поэзии». Он такой и был – маленький, толстенький, шумный, очень уютный, гостеприимный, буквально фонтанирующий стихами и идеями.

Отец был другой – очень немногословный, он предпочитал слушать, рассматривать собеседников, иногда слегка улыбаясь, постоянно раздумывая о чем-то; в нем все время шла какая-то неслышная, но очень важная внутренняя работа...

Бедный отец – он мечтал купить для большой комнаты, столовой (в ней, единственной в доме, стены были обшиты вагонкой), белый овальный стол с двенадцатью белыми стульями. Мечтал устроить в ней настоящий камин, чтобы можно было любоваться игрой огня. Возле дверей поставить рыцаря в полный рост, в доспехах, с забралом и шпагой (такого он видел в доме у Поженяна). Не успел это осуществить. В пустой комнате хранились инструменты, которые отец радостно приобретал везде, где мог. С какой любовью он разглядывал по вечерам деревообрабатывающий станок, электролобзик, электродрель!..

На мой вопрос, кого он будет принимать в «белой столовой», с гордостью и одновременно с иронией говорил: «Как кого? Послов, глав делегаций, многочисленных поклонников моего таланта, журналистов, жаждущих взять интервью по поводу моего очередного романа».

Видел бы отец, на что стал нынче похож писательский городок и территория патриаршей дачи около его Зеленого Тупика (последний адрес моего отца в России)... Возле скромной церквушки (ее колокольный звон мы слушали по вечерам с балкона дачи) выросла стена с изразцами не хуже кремлевской. Сама же территория вокруг церкви облагородилась детской площадкой, туалетом для паломников, ларьком для продажи церковной утвари. Неподалеку выстроили пятиглавый храм в честь князя Игоря Черниговского и поставили два памятника святым. Красивый храм, величественный и огромный. Но какой-то он пока холодный, высокомерный, в него не тянет заходить, как в старую переделкинскую церковь, где отца отпевали в 2003 году. Сейчас дорога к патриаршей даче вылизывается тщательнейшим образом, асфальт выглядит так, как будто его каждый день моют шампунем. При жизни отца возле церквушки зачастую околачивались местные пьянчужки, асфальт был весь в рытвинах, вокруг была тишина, стрекотали кузнечики в зарослях полыни и иван-чая.

Мы любили ходить за водой (когда не работал водопровод) к святым источникам недалеко от нашего Зеленого Тупика, рядом с кардиологическим санаторием для ветеранов войны... Воздух был чистейший, хоть ложкой его ешь, а ведь от Москвы Переделкино отделяло всего двадцать минут на электричке.

Лишь одно осталось практически неизменным – старое «писательское» кладбище в Переделкине, где по-прежнему после четырех вечера пусто, даже страшновато – персонала никакого нет. Разрушаются старые плиты на могилах, прорастая мхом и сорняками, колышутся высокие деревья над могилами известных писателей: Пастернака, Тихонова, Чуковского, у забора – заросли репейника, крапивы и огромные, в человеческий рост, лопухи...

На переделкинском кладбище отец и нашел свое успокоение, о чем просил в завещании, – он окончательно вернулся на Родину. А жена его Наталья Кузнецова и ее мама навсегда остались в Германии... Недалеко от отца могила Григория Поженяна – они стали соседями и по кладбищу, в этом есть что-то символическое.

Вернемся к нашему второму знакомству на «Букере». Первое, понятно, состоялось в момент моего появления на свет. Но отец с мамой развелись, когда мне было четыре года, а потом мама снова вышла замуж, отчим меня удочерил, и я носила его фамилию.

Собственно, именно на вручении Букера мы и познакомились по-настоящему. Сидя за праздничным столом, выпили на брудершафт (до этого три года в письмах были на вы)

и отец расположил меня к себе, рассказав, как познакомился с мамой: «С обеими своими женами я познакомился в буфете ЦДЛ».

Ох, уж этот знаменитый буфет ЦДЛ, на стенах которого были всевозможные подписи писателей, дружеские и не очень рисунки-шаржи всех тех, кто когда-либо посещал его – от Михаила Светлова и Погодина до Сергея Михалкова, Андрея Вознесенского, Беллы Ахмадулиной. Отцова подпись тоже красовалась там до его отъезда в эмиграцию и «назначения» его диссидентом.

Отец рассказывал, что мама была красавицей, упомянул о том, что до сих пор помнит, в какое платье она была тогда одета... С гордостью подчеркнул, что обе его жены были красавицами. Мне кажется, что для него это было в какой-то мере самоутверждением – из-за большого, почти во всю щеку родимого пятна он считал себя некрасивым. Правда, когда я его увидела, пятна уже не было, с этим великолепно справились немецкие врачи.

Потом отец попросил проводить его на мамину могилу. Перед отъездом подарил мне «Генерала и его армию» – книгу, изданную «Книжной палатой» (первое книжное издание), «Верного Руслана» (почему-то в сборнике рассказов про собак) и тоненькую, невзрачную книжечку с «Большой рудой» (с которой он вошел в большую литературу).

Вскоре они с Наташей уехали обратно в Германию. Потом снова были письма. Но уже другие. А в 1997 году умерла его Наташенька. Это было огромное горе для него – в эмиграции они были всем друг для друга, там к тому времени у них почти не осталось друзей. Он вызвал меня к себе, и мы вместе совершили сказочное путешествие по Европе. Я открывала отца для себя – ведь мы не знали ничего друг о друге почти тридцать лет. Он тоже заново меня узнавал.

Я прилетела к нему в Германию в конце октября. С визой помог друг, который попросил знакомого немца прислать мне приглашение. Бедный отец даже не имел право меня приглашать – он сам имел статус беженца (на руках был нансеновский синий паспорт). Немецкое гражданство Владимов мог бы получить сразу, если бы знал немецкий язык, а так, согласно немецким законам, получил гражданство только через пятнадцать лет.

Отец встретил меня в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Увидев его, я ужаснулась: когда он приезжал с Наташей на вручение Букера, то имел ухоженный, ложенный вид – в светлом, из тонкого драпа осеннем пальто, приличном темном костюме в мелкую полоску, в темных очках, закрывавших пол-лица, – типичный иностранец.

А сейчас мне навстречу вышел сторбленный человек в темно-зеленой, явно жениной кофте, в тренировочных брюках с пузырями на коленях, с давно не стриженными седыми с желтизной волосами. Общее впечатление огромного несчастья дополняла коричневая сумка из кусочков кожи, также явно дамская...

Жил отец в Нидернхаузене – маленьком городишке с населением не более десяти тысяч, поселок городского типа по нашим меркам, но это был все-таки настоящий город с банком, множеством магазинчиков, ресторанами, бензоколонками.

До Франкфурта оттуда всего сорок минут на машине. И четырнадцать километров до Висбадена – того самого, где в самом крупном в Европе казино прожигал жизнь, а заодно и гонорары Федор Михайлович Достоевский.

С казино в Висбадене у отца была связана забавная история. Он в Германии буквально заболел компьютерами (хотя ему в то время уже было лет шестьдесят) и мечтал о ноутбуке. Тогда они были еще очень дорогими. И вот отец с женой отправились в казино, Наташа поставила на тридцать два номера все деньги, что у нее были. Каждый номер выиграл по сто марок, и она заработала три тысячи двести марок, на которые и купила отцу желанную игрушку. Рассказывая мне эту историю, отец добавил назидательно: «Вот что значит первый раз! Новичкам всегда везет, хорошо, что у нас хватило ума вовремя остановиться и уйти».

Мы проехали весь Нидернхаузен и поднялись на горюшку, вдоль которой стояли семь или восемь девятиэтажных домов. Отцовский дом был на вершине горы, позади дома виднелись мягкие холмы, поросшие густым лесом, напротив дома лес окружала ограда, за которой я заметила каких-то животных. Увидев нас, к решетке сразу же подошла молодая олениха, доверчиво ткнулась в ладонь бархатными губами. За ней потянулись несколько оленей с красивыми ветвистыми рогами.

– Какая прелесть, ручные олени, надо же, прямо возле твоего дома живут! – наивно воскликнула я.

– Ты особо не обольщайся, – мрачно заметил отец, – это же ходячий обед, их специально разводят и держат тут за решеткой для ресторана. Любимое блюдо у немцев здесь – оленина с брусничным вареньем.

– Вот гады!

– А сами дома знаешь кому принадлежат?

– ?

– Одному доктору медицины. Он сначала один дом построил и стал сдавать, а потом на доходы от арендной платы построил еще восемь.

– Ничего себе!

– В нашем доме в основном живет всякая голытьба вроде меня, несколько армян, евреев, поляков, но всех нас называют русскими. Есть немного немцев. Так у нас в доме живет человек по фамилии Кальтенбруннер, представляешь?

– А Бормана нет?

– Нет. А вот с Мюллером я пару раз встречался в бассейне.

– ?

– У нас в доме на первом этаже есть бассейн. Я плачу две марки в месяц и могу им пользоваться в любое время суток. Пока ты здесь – ходи хоть каждый день.

Четырехкомнатную квартиру в этом доме отец снимал в свое время для большой семьи – он вывез в Германию жену с тещей, которая его боготворила и очень им гордилась. Правда, отец говорил, что порой жалеет о том, что вывез тещу за границу: она прожила после переезда всего три года, а в России, по мнению отца, могла бы еще жить и жить... «Нельзя пожилых людей лишать корней», – говорил он позднее.

В квартире отца я обратила внимание на удивительный порядок в рабочем кабинете, так не сочетающийся с его поношенной одеждой: на стене в отдельных гнездах висели различные инструменты – и для ремонта автомобиля, и для многих других целей, о назначении большинства я только догадывалась. Я, раскрыв рот, рассматривала это богатство – ведь я ничего не знала об отце.

Еще в кабинете были огромный письменный стол, стационарный компьютер, стеллаж во всю стенку (сделанный отцом), заполненный книгами. Многие из них были подписаны очень известными писателями и общественными деятелями (Бёллем, Довлатовым, Максимовым, Войновичем, Аксёновым, Копелевым, Сахаровым, Боннэр).

Я удивилась такому количеству инструментов в его кабинете вслух: мол, зачем писателю делать то, что могут сделать наемные рабочие. Отец лукаво улыбнулся и сказал: «Ты не думай, я не какой-нибудь “вшивый интеллигент”, который не знает, каким концом вогнать гвоздь в стенку. Я очень люблю возиться с инструментами, чинить, ремонтировать, делать многое своими руками. Ты знаешь, когда-то я изобрел важную деталь к двигателю внутреннего сгорания, у меня даже есть патент на изобретение!»

Тут я обратила внимание на его руки – широкие, большие, мозолистые, с грязью под ногтями – руки настоящего мужика, твердо стоящего на земле, который может и собрать

мебель, и починить машину, и покрасить стены, и отремонтировать любую сантехнику. При этом не будет зависеть от милостей природы и капризов слесаря, в чем я убедилась позднее, когда он поселился в Переделкине. Всю сантехнику на даче отец чинил сам, столкнувшись с неумением переделкинского «специалиста». И очень этим гордился – ничуть не меньше, чем литературной премией!

Многое понять в характере отца мне помог его любимый литературный герой, которым он восхищался в юности – Мартин Иден – простой рабочий парень, матрос, который сам себя сделал.

Из кабинета отца мы вышли на балкон, и я восхитилась открывшимся видом на лесистые горы и виднеющиеся вдалеке домики с черепичными крышами. Отец сказал, что часто на город опускается туман, такой сильный, что не видно даже погруженной в него руки...

Каждый Новый год отец выходил на балкон и, пока подвыпившие бюргеры производили залпы салюта в честь праздника, делал один выстрел в воздух из браунинга, который ему подарил сын (или внук? уже не помню) Гудериана. «Он прочитал моего “Генерала” и пришел ко мне – поблагодарить меня за то, что написал правду о Гудериане, без осуждения и приукрашивания».

«А вон там видно муниципальное кладбище, на котором похоронены моя Наташенька и теща, – мы потом сходим с тобой туда».

Позднее мы сходили с отцом на кладбище, и меня поразила разница с нашими мало ухоженными погостами. «Но, к сожалению, у немцев чувство порядка сочетается с каким-то бездушным практицизмом. Например, когда Наташенька умерла и мне позвонили из больницы, я приехал и попросил дать возможность с ней проститься. Они очень удивились: зачем мне это надо? Ну, потом согласились, выкатили мне каталку с ее телом и показали через стекло – мол, и достаточно... А с кладбищем тоже все практично до жути – ровно через тридцать лет могилы уничтожаются и занимаются новыми усопшими. Исключение делается только для выдающихся деятелей, имеющих особое значение для города или страны, поэтому я очень переживаю за мою Ташечку – мне ее не удастся вывезти в Россию, это очень дорого и сложно, а ведь она, как и я, мечтала лежать на Родине», – грустно заметил отец.

Отец много рассказывал мне о Наташе, а я вспоминала нашу первую встречу с ней в Москве. Я позвонила в дверь квартиры Юза Алешковского, и мне навстречу вышла маленькая, изящная, но какая-то суетливая и очень быстро, непрерывно говорящая женщина.

Как я потом узнала, в Москве она простудилась, и у нее в тот момент была высокая температура. «Это не я, не я, не из-за меня ваш папа ушел от вашей мамы, мы встретились гораздо позже!» – почти с порога закричала она, – так ее мучила эта мысль. Мне показалось, что отец относился к ней как к любимому, но порой раздражающему непрерывной болтовней и желанием привлекать внимание ребенку.

Через десять минут нашей с ней беседы за столом я увидела, что отец отключился от нашего щебетания и стал смотреть в сторону и даже говорить вслух, может быть, проговаривая какую-то очередную мысль, которую ему хотелось записать...

Ко мне Наташа отнеслась очень внимательно, ей не хотелось, чтобы мы с отцом потеряли друг друга, едва обретя. Первое письмо ко мне отца пропало, и он не получил от меня ответа. Они оба взволновались до чрезвычайности, но Наташа особенно, поэтому она и стала просить всех знакомых в Москве меня разыскать и рассказать про пропажу письма, чтобы я не думала, что отец не хочет со мной общаться.

А на вручении Букера Наташа с гордостью представляла меня как дочку Жоры (так она всегда называла отца) общим знакомым. Я запомнила Елену Боннэр, скромно одетую пожилую женщину с тяжелым седым пучком волос, подходившую к нашему столику, чтобы поздравить отца с вручением премии (а он, бедный, все сомневался, что получит ее).

Запомнила переводчицу Елену Ржевскую, про которую отец рассказал, что это она нашла и привезла в СССР челюсть Гитлера – сей раритет наши солдаты обнаружили в бункере диктатора в 1945 году.

Очень четко в память врезалась картина, как на нас с отцом и Наташей летела в страстном, но чрезвычайно нечетком порыве поздороваться после долгой разлуки, с глазами абсолютно инопланетными, Белла Ахмадулина, а ее муж Борис Мессерер в последнюю минуту подхватил ее за талию, чтобы не унесло ветром.

Были там и Андрей Вознесенский в белом шарфе, обмотанном вокруг шеи, и его жена, элегантная Зоя Богуславская, но они довольно холодно поздравили отца, произнося свои поздравления с кислыми лицами, почти без эмоций. И Наташа воспринимала все обостренно, так, будто обидели лично ее, а не мужа.

Уже в Нидернхаузене отец рассказал мне трагическую историю, случившуюся, когда Наташе было шестнадцать лет. Он упомянул об этом, когда мы заговорили о клонировании людей: «Никакое клонирование не вернет мне мою Наташеньку, такую, какой она была, после пережитого испытания... Она однажды вернулась из школы и увидела своего отца в петле, и никто не узнал, почему он это сделал... – И добавил: – Клонирование могло бы мне вернуть красивую куклу, но души моей Наташи, ее души, перенесшей большие испытания, мужественной, ранимой, преданной – никто бы не смог повторить...»

Она несколько раз была замужем, вторым ее мужем был великий «грустный клоун» Леонид Енгибаров. К нему отец относился с большим пиететом и даже гордился, что Наташа была за ним замужем. Он говорил, что судьба «грустного клоуна» типична для нашей страны – его недооценивали при жизни, мало выпускали за рубеж работать, всем заправлял тогда «солнечный клоун» Олег Попов, который интриговал против Лени (так, по крайней мере, говорил отец со слов Наташи). Постепенно Леонид спился. И умер молодым, очень рано, в 1972 году, в самый разгар страшных московских торфяных пожаров. Судьба, похожая на судьбу Высоцкого, которого отец тоже знал в молодости.

Наталья Кузнецова была известным критиком, писала статьи, которые после ее смерти отец собрал в книгу и на свои деньги издал. Лев Аннинский называл Наташу «серебряным перышком эмиграции».

Она была необыкновенно предана отцу, оберегала от любых неприятностей и от людей, которые могли бы ему повредить. Настоящая боевая подруга, говорил про нее отец. В Германии, если кто-то хотел встретиться с отцом, должен был пройти ее контроль, и она решала, допустить ли до «тела» нежданного гостя. Она не дала отцу встретиться с Ильей Глазуновым, который хотел написать его портрет, – а жаль... Отец был Наташе вместо ребенка, она не стала заводить детей, чтобы больше времени уделять своему Жорику. Ему нравилось это имя, и я по его просьбе так же стала его называть...

Из аэропорта мы приехали в Нидернхаузен, закинули вещи в квартиру и поехали покупать продукты в ближайший супермаркет в Висбаден – в Нидернхаузене отец почему-то не покупал продукты. Мы ходили по магазину, кидая продукты в коляску, затем в честь моего приезда отец добавил к ним джин, тоник и грейпфрутовый сок.

«Я научу тебя делать “коктейль Владимова” – один стаканчик джина, один – тоника и два – грейпфрутового сока», – объяснил он мне. А потом жадно прислушался – по магазину шла русская пара и что-то оживленно обсуждала.

«Знала бы, ты, как мне не хватает русской речи, я к немецкому я так и не привык – все-таки я оказался за рубежом в пятьдесят один год, это очень много для привыкания к чужому языку. Ну, есть, конечно, небольшая диаспора во Франкфурте, с представителями которой мы с Наташей общались, но этого слишком мало. Так что в основном мы варились в собственном соку. Наташа хотя бы общалась с людьми, когда записывала свои выступления на радио

“Свобода”, я же после ухода из “Граней” стал мало видеть людей. Поэтому нам так нравилось, когда приезжал кто-нибудь из России, например, когда приезжал Лёва Анненский с Шурой. Ты знаешь, я постоянно покупаю во Франкфурте диски с вашими нынешними фильмами. Из недавних мне очень понравились “Окно в Париж” и “Особенности национальной охоты”, я их смотрел раз двадцать, не меньше и наслаждался языком. Надоели немцы с их скучными новостями и бесконечными шоу для домохозяев, для бургеров с пивом в руках».

От этих слов на меня пахнуло таким застарелым одиночеством! Стало его безумно жалко. Позднее отец сказал, что по приезде в Германию лет пять не мог писать – так давили тоска и сожаление, что уехал, что не дождался краха империи, оставалось каких-то восемь лет. Поэтому и «Генерала» он писал так долго, почти пятнадцать лет, хотя начинал собирать материалы еще в России. Кроме невероятной писательской тщательности здесь была еще и жуткая ностальгия...

Отец очень переживал, что не был во время августовского путча 1991 года в Москве, что в самый интересный период, период коренного перелома, слома строя, не был в своей стране, со своим народом. Он называл ликвидацию путча 1991 года «августовской революцией». В этом было много наивной романтики – отец почти пятнадцать лет прожил в Германии практически безвылазно, не считая коротких поездок по Европе. Один раз с Наташей они ездили в Париж, где он с удовольствием общался со своим другом, замечательным писателем-фронтовиком Виктором Некрасовым, автором романа «В окопах Сталинграда». Тот много лет жил в Париже, прекрасно знал французский. Они вдвоем с отцом много гуляли по Парижу, причем Некрасов в совершенстве знал все питейные заведения французской столицы, и во время своих долгих прогулок они обошли их все. Там же отец встречался с Максимовым, Синявским и Галичем.

Второе путешествие отец с Наташей предприняли в Рим. Я запомнила, как отец рассказывал об очаровательном плутовстве итальянских официантов, которые радостно обсчитывали наивных туристов на свои миллионные лиры, но делали это изящно, красиво и часто услаждали слух какими-нибудь знаменитыми ариями в духе Энрико Карузо или Марио дель Монако.

В 1990 году отец приезжал ненадолго в Санкт-Петербург на съезд соотечественников, был всего три дня, и ему все казалось необыкновенным, таким отличным от той советской действительности, которую он запомнил. Впрочем, полемические статьи, которые отец писал для «Московских новостей» на разные темы, были злободневные, глубокие, содержательные и намного опередившие свое время. Меня очень удивляла эта двойственность в отце: сочетание житейской наивности и непрактичности с глубоким анализом происходящих событий и мгновенного схватывания самой сути процесса. А ведь все, что он знал о России начала 90-х годов или, как сейчас говорят, «лихих девяностых», черпал из ТВ, газет и рассказов приезжающих погостить друзей...

Во время нашей поездки по Европе мы говорили о его литературных планах. Замыслы были очень интересные: например, ему очень хотелось написать продолжение истории Христа, Его земной жизни. Отец всерьез верил апокрифам, согласно которым Иисуса спасли от распятия, и Он жил долго и счастливо в любви и согласии с Марией Магдалиной, а она родила ему кучу детишек.

Отец хотел закончить роман «Долог путь до Типперэри». К сожалению, этим планам не суждено было сбыться – напечатана только первая часть.

Мечталось ему написать детектив, но никак не придумывался главный герой. Мы перебирали известных персонажей, и наконец мне пришла в голову идея, которая понравилась отцу. Я предложила ему в качестве главного героя немолодого писателя, партнером которого

(своего рода Ватсоном в юбке) должна была стать его дочка. Они переписываются и в письмах раскрывают давние преступления. В связи с этим отец рассказал мне о смерти Галича и добавил, что не верит в несчастный случай, считает, что его «убрали» спецслужбы, которые не могли допустить возвращения Галича в Россию (о чем тот мечтал). Отец говорил, что очень хочет, чтобы правда вышла наружу, хочет написать об этом. Увы, остался только замысел.

Был еще чудесный замысел написать о писателях и общественных деятелях, с которыми отца сводила судьба, хотя бы по несколько страничек о каждом, такие маленькие рассказы. Я видела составленный им список имен – это бы было очень интересно! Юрий Казаков, Григорий Поженян. Константин Симонов, Александр Твардовский, Сергей Довлатов, Владимир Высоцкий, Евгений Урбанский, Василий Ордынский, Булат Окуджава, Михаил Шолохов, Белла Ахмадулина, Фазиль Искандер, Андрей Битов и многие другие – в списке было много людей, которыми гордится Россия.

Кстати, когда я спросила отца об имеющихся у многих сомнениях в том, что Шолохов является действительно автором «Тихого Дона», отец твердо сказал, что уверен – роман написал Шолохов. Он читал другие его вещи и полагал человеком талантливым, слушал его выступления на съездах и говорил, что Шолохов всегда отмалчивался, никого не защищал из писательской братии, но и никого не клевал.

У отца к Шолохову был небольшой счет – как-то при мне он перечитывал «Тихий Дон» и недовольно воскликнул: «Зачем он так рано убил Аксинью! Такой яркий персонаж – без нее мне дальше роман читать не хочется!»

Считал ли он себя профессиональным писателем, как относился к славе, мечтал ли о ней? Помню, во время нашего путешествия я рассказала ему об интервью с Чингизом Айтматовым в «Аргументах и фактах», который сам себя назвал «классиком», и о том, как меня резануло это, – я Айтматова очень любила, особенно «Буранный полустанок».

Отец ответил, что, в отличие от Айтматова, не считает себя «классиком», более того – он вообще не профессионал, а только любитель, потому что, по его мнению, писать нужно только о том, что любишь. «Если я пишу о том, что интересно мне, будет интересно и читателям», – говорил отец.

Писал отец всегда по утрам, уже в шесть он был на ногах, писал часов до двух-трех, потом обедал и занимался физическим трудом или смотрел телевизор, слушая в основном новости. Он часто повторял, что литература не делается во вторую смену.

Знал ли он себе цену? Думаю, что, конечно, знал. Однажды он сказал мне, лукаво улынувшись: «А ведь у меня совершенно завораживающий стиль, поэтому я никогда не лежу на полках». И это правда – книги отца никогда не залеживались...

И еще он мне рассказал, что папа римский Иоанн Павел II называл его «Генерала» глупо христианской книгой. Чувствовалось, что отцу эти слова запали в душу. В связи с этим мне вспоминаются слова, сказанные русским священником генералу Гудериану, когда по приказу Гудериана открыли тюрьму в захваченном немцами городе, и там обнаружили тела людей, расстрелянных заранее, своими. Гудериан ходил между трупов погибших и удивлялся, как могут свои уничтожать своих. А священник ему сказал только одно: «Не кладите персты в наши раны»...

Славы отцу, может, и хотелось, но скорее как заслуженной оценки его творчества, а так он любил только одно – писать. Хотя, конечно, обижало, что «братья-писатели», как говорил отец, постоянно дают друг другу премии, как в басне Крылова: «Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку».

Как-то он сказал мне, что был бы рад получить премию «Триумф», которую в тот год дали Булату Окуджаве. Отец сказал: «Правильно, что дали – Булатика я очень люблю, он необыкновенно талантливый поэт, бард, но ведь проза же моя лучше?» Отец думал, что все происходит потому, что он не живет постоянно в России.

То же было и с премией Солженицына, которую отец, как мне кажется, заслуживал, но по тем же причинам не получил...

Я прожила у отца неделю – он заканчивал вычитывать верстку своего четырехтомника. (Он очень гордился, что сам научился верстать свои книги). Наконец мы решили отправиться в путешествие. Я мечтала попасть в Италию, даже прихватила с собой путеводитель. Но отец побоялся везти меня туда – он решил, что раз у меня нет итальянской визы, могут быть неприятности при пересечении границы. Мы оба не знали тогда, что Италия уже вошла в Шенген. Отец предложил поехать в Барселону: он когда-то смотрел репортаж об Олимпиаде в Барселоне, и город ему показался фантастически красивым.

Отец вел машину лихо, я сидела рядом за штурмана, держа на коленях атлас дорог Европы и всматриваясь в дорожные знаки. Отец заявил, что после Германии он всецело доверяет мне объясняться с людьми, ибо английского не знает нисколько. Проехали Карлсруэ, к вечеру попали в Оффенбург – милейший городок, с чудесными немецкими игрушечными домиками, маленькой площадью, вымощенной булыжниками и украшенной памятником не помню кому. Поужинали в каком-то ресторанчике и купили в номер бутылку красного вина и две пачки «Данхилла».

Это стало нашей своеобразной традицией: во время всего путешествия мы каждый вечер выпивали по бутылке вина – красного, розового или белого – и курили, курили... безбужно, и разговаривали, разговаривали... Меня это тяготило (физически) – я очень редко пью вино, только по праздникам, и каждодневное употребление спиртного на протяжении двух недель путешествия вызывало разбитость по утрам. Но я не роптала – понимала, что отцу это сейчас необходимо. Так он справлялся с огромным горем от потери Наташеньки и ощущением перемен в наступающей жизни... Зато мы много разговаривали, отец вспоминал детство, молодость, первую любовь, людей, с которыми его сводила жизнь, – ему так проще было раскрепоститься, начать доверять мне.

На следующий день мы немного побродили по Оффенбургу, зашли в какой-то магазинчик, и отец потряс меня какой-то удивительной наивностью, спросив небрежно: «А у кого ты одеваешься?». Он знал, что Наташа себе периодически заказывает какие-то модные тряпки по каталогам одежды, и предполагал, что я делаю так же. Увы! В то время я была совершенно нищей аспиранткой, подрабатывавшей дежурствами в больнице. Нет, жить было весело, была компания ребят, которые часто приходили в гости, я не жалела деньги на подарки или книги, но остальное... Мимо остального я проходила, закрывая глаза, убеждая себя, что мне все это необязательно – разительный контраст с моей жизнью в советские времена, когда была жива мама.

Это еще одна удивительная особенность отца – рассеянность, отстраненность от бытовых вопросов (которые ему были скучны) в сочетании с невероятным интересом к происходящему вокруг него, с глубоким анализом деталей, ситуаций, черт, манеры поведения людей, особенностей их речи. Многое затем отразилось в его произведениях.

При этом собственной внешности, своей одежде отец не придавал особого значения: он мог легко причесаться пятерней (и то по моей просьбе!). В нашем путешествии он имел неосторожность доверить мне стрижку своих отросших волос, а я, совершенно не умея этого

делать, дрожащими руками соорудила что-то «под горшок». Отца стрижка нисколько не смутила: «Спасибо, хоть голове легче дышится».

Он мог надеть мятый костюм без галстука (цена при этом внимание, он с удовольствием носил галстук, который мы купили ему в Барселоне или Монте-Карло, но если бы не купили – не беда, обошелся бы запросто). Ему была нужна помощница, слушательница, нянька, подруга, которая бы его понимала и помогала бы справляться с этими мелочами. Как здорово, что столько лет с ним рядом была Наташа!

Зато техника должна была быть в порядке, поэтому он так любил свой «пассатик» (поддерживал его на ходу больше восемнадцати лет!). Зато ноутбук должен был быть лучшим.

Тщательность в изучении деталей, вживание в жизнь тех, о ком писал, начались еще с «Большой руды»: отцу дали командировку на Курскую аномалию – тогда писатели могли получать такие командировки, но многие никуда не ездили, предпочитали, сидя дома, изучать материал по газетам. Отец же провел там, на стройке, почти четыре месяца, разговаривая с водителями, сторожами, диспетчерами. Было ему тогда всего 29 лет. Повесть вышла в «Новом мире», и отец проснулся знаменитым писателем – ее перевели на семнадцать языков, сняли в кино, поставили в театре, на радио, на телевидении.

Отец рассказывал, что Василий Шукшин своим друзьям говорил с досадой, что это он должен был написать «Большую руду».

Отец крепко подружился с актером Евгением Урбанским и его женой. Урбанский сыграл главную роль в одноименном фильме, снятом режиссером Василием Ордынским. Режиссер часто бывал у нас дома в те времена и, со слов отца, видел меня годовалую. Он сказал тогда отцу: «Жора, это лучшее твоё произведение».

Евгений Урбанский был невероятно обаятельным человеком, в компании от него все не могли оторвать глаз – он великолепно пел и играл на гитаре. Для отца была большим ударом нелепая и страшная гибель актера на съемках фильма «Директор». Особенно потому, что все произошло так, как было описано в «Большой руде»: он врезался на автомобиле в груды песка и сломал пятый и шестой шейные позвонки – так погиб шофер Пронякин в повести отца. Отец счел это каким-то чудовищным знаком и сказал мне, что чувствует себя виноватым в гибели Жени, что это он ему предсказал такой конец...

Для «Трех минут молчания» отец устроился работать матросом на рыболовецкое судно, добывавшее норвежскую селедку. Он был в плавании вместе с командой больше одиннадцати месяцев, по-честному разделяя с ними все трудности лова. В это время мама ждала ребенка, поэтому меня и называли в честь моря, где он в то время был.

Потом отец подарил свою книжку боцману, который воскликнул: «А, помню-помню, такой молчаливый, странный был матрос, все строчил что-то в свой блокнотик в кубрике».

А ведь отец мог побыть в командировке на судне в качестве журналиста, гостя. Но так он не хотел. Может быть, поэтому все его произведения абсолютно достоверны, очень точны по фактуре.

Я как-то спросила его, почему в «Трех минутах молчания», где описывается жизнь моряков, занятых невероятно тяжелым трудом, нет никакой ненормативной лексики. А отец сказал: «Зачем? Можно так описать все, что ты хочешь, что она не понадобится. Для того чтобы матюги использовать, не надо большого искусства. Ты попробуй обойтись без этого, чтобы тебе поверили». И верили, верили безусловно.

По выезде из Оффенбурга мы слегка «поцеловали» чью-то машину, погнув собственный бампер, и постарались быстро смыться с «места преступления», чтобы нас не задерживали для разборок со страховкой. С тех пор во время каждой парковки отец стал спрашивать, проходим ли мы по расстоянию, есть ли безопасный зазор между другими машинами,

и только тогда я узнала, что фактически он видит четко одним глазом. На втором была уже почти созревшая катаракта – он ускорил ее созревание длительным сидением за черным белым маленьким экраном ноутбука. Несколько раз, наливая мне «коктейль Владимова», отец промахивался мимо рюмки, но я продолжала всецело ему доверять нашу безопасность – я знала, что он очень опытный водитель с более чем сорокалетним стажем...

Мы быстро добрались до Страсбурга, уже французского городка, причем оба были потрясены тем, что на границе никто нас не проверял – таможенники стояли к нам спиной и оживленно обсуждали что-то явно более интересное, чем наши иностранные лица.

Затем мы тронулись дальше и к вечеру оказались в маленьком французском городке Дижоне. Сразу почему-то вспомнились мушкетеры и незабвенный д'Артаньян. Поселились в отеле с чудесным названием «Король Дюк». В памяти остались хрустящие круассаны, которые нам подали утром на завтрак. Завтрак был полноценный, почти шведский стол; в других местах такой роскоши нам не доставалось – у отца было довольно туго с деньгами, и мы старались поселиться по возможности дешевле, максимум в двухзвездочных гостиницах.

На следующий день был Лион. Запомнились королевский дворец и маленькое кафе на заправке, где отец по моей просьбе купил мне музыкальную игрушку. Стоила она немало – двести франков, но меня пленила совершенно: на круглой площадке устроен фонарь, к которому прислонился играющий на гитаре мышонок. Вся конструкция заводилась с обратной стороны ключом. Эта музыкальная шкатулка у меня хранится до сих пор – я включала ее маленькой дочке Кате, и та приходила в бурный восторг. Правда, после ее шаловливых ручек пришлось шкатулку чинить, и мастер строго велел не заводить ее больше чем на девять оборотов, чтобы снова не сорвать механизм. Она и поныне стоит у меня в квартире как память о нашем чудесном путешествии...

Отец был страшно удивлен моей просьбой и говорил, что не ожидал встретить женщину, которая интересуется не тряпками, а игрушками и куклами.

Два дня мы провели в Марселе, это были очень насыщенные дни, остались какие-то очень яркие картинки города. При этом путеводителя у нас не было, и мы сами решали, куда нам выбраться, для подсказки я использовала открытки в магазинах – решив, что на них обязательно должны быть изображены какие-нибудь достопримечательности, которые обязательно посещают туристы.

Одну ночь мы провели в славном недорогом двухзвездочном отеле, но на следующий день зачем-то решили в нем не оставаться, а перебраться по улице повыше, в более дешевый. То была роковая ошибка, о которой мы вспоминали потом с улыбкой, но тогда нам было не до смеха. Все по нашей русской пословице: «Скупой платит дважды».

Дверь открыл весьма подозрительного вида портье, одноглазый, с наглой усмешкой, по лицу которого нам стало ясно сразу, что мы имеем дело с шельмой. Но мы с отцом все же не передумали. Не дрогнули мы и тогда, когда портье сказал, что лифта нет, и потащил нас вместе с багажом по узкой винтовой лестнице на последний этаж. Потом он торжественно объявил, что удобства – на этаже (кажется, это был единственный раз, когда мы столкнулись с этим весьма необычным для французских отелей явлением).

В номере оказались две кровати, жалобно закряхтевшие под нашими телами, и покосившийся шкаф, ножка которого обрушилась при моей первой попытке открыть дверцу и повесить вещи. Стаканов в номере тоже не оказалось, пришлось призвать портье, который явился далеко не сразу и неохотно выдал нам ровно два стакана и пожелтевшее полотенце, весьма подозрительно посматривая на нас, как бы решая для себя, можем ли мы сбежать с таким богатством.

Ночка в отеле оказалась под стать всему остальному – окна наши выходили на проезжую часть, а отель поднимался в гору, и посему все автомашины и мотоциклы набирали скорость, их рев мы слушали всю ночь, проклиная все на свете.

Потом-то мы хохотали, вспоминая это приключение. Нас нечаянно занесло в отель для встреч с девицами легкого поведения.

Дальнейший путь лежал через Прованс и маленькие городки с волшебными звучащими для слуха названиями, вроде Клермон-Ферран и пр. Сразу почему-то вспоминался юный д'Артаньян со своим необыкновенного цвета меринком.

Мы миновали осенние Альпы, проехали рядом со знаменитым перевалом Сен-Готар и говорили о подвиге Суворова и о русских солдатах, которые настолько абсолютно верили ему, что прошли там, где это казалось совершенно невозможным.

Отец говорил о том, что ему симпатичны Суворов и Кутузов, которые очень заботились о своих солдатах. Речь зашла о «Генерале», и отец упомянул, что ему Георгий Жуков не нравится – типичный сталинский полководец, который совершенно не жалел людей, по принципу «лес рубят – щепки летят». При этом воздавал должное Жукову за вклад в победу, но гораздо больше восхищался другими полководцами, например, Рокоссовским и Чибисовым. На мой вопрос, откуда взялся Кобрисов и вообще возник интерес к этой теме, ответил, что в молодости, в полном безденежье, еще до «Большой руды» подрабатывал написанием литературных мемуаров престарелых военачальников. Один был скучнейший генерал, который сражался еще в Гражданскую войну, вместе с Буденным, и помнил только свои брюки с лампасами и кличку коня, на котором скакал. А другой, другой был Чибисов, прототип Кобрисова, который как-то сказал ему: «История Великой Отечественной войны, Георгий Николаевич – история тайных преступлений, о которых мы когда-нибудь, может быть, узнаем».

Помню один день, кажется, на подъезде к Греноблю, когда напал чудовищный туман, и видимость была меньше метра. Устав ползти наощупь, мы решили передохнуть в маленькой горной таверне. Мы вошли, сели. Было пусто, всего два-три путника, не обращавших на нас никакого внимания. И вдруг мы услышали «Марсельезу», которую насвистывал черный дрозд... Птица сидела в клетке и самозабвенно свистела французский гимн. Почему-то стало одновременно и смешно, и грустно. Отец усмехнулся, а потом сказал: «Каковы французы, какие патриоты! Почему в этой стране даже птички исполнены патриотизма, и знают свой национальный гимн, а мы никак не разберемся с оным. То слушаем замечательный гимн Глинки из оперы “Жизнь за царя”, то зачем-то реанимируем бывший советский, заполняем его новыми словами, которые никто не в состоянии запомнить...»

По дороге стали вспоминать песни, которые оба знали с детства. У отца оказались хороший слух и неплохой голос. В этом я убедилась, когда на глазах у изумленных проезжающих мы с ним громко пели дуэтом «Любо, братцы, любо...» Думаю, такого здесь еще не слышали!

Отец рассказывал мне о своем детстве. Они с матерью, Марией Оскаровной, эвакуировались в Кутаиси вместе с суворовским училищем им. Дзержинского, где она преподавала русский язык и литературу, и по дороге попали в Саратов или Самару (точно не помню). Там одиннадцатилетний Георгий решил бежать на фронт. Собрал мешок сухарей и наострил лыжи. На окраине города его обнаружили наши бойцы-танкисты и уговорили вернуться домой к матери, чтобы немного подрасти для борьбы с врагами. Хотел мстить за отца – Николай Степанович Волосевич пропал без вести где-то в Белоруссии еще в первые дни войны. Много лет потом отец пытался его разыскать, но безуспешно. Вообще он очень тянулся к отцу и всегда жалел, что мать с ним разошлась, когда ему было то ли семь, то ли восемь лет.

Николай Степанович женился во второй раз, от этого брака у него родилась дочь Людмила, которую отец также безуспешно пытался разыскать. Кстати, писательство для Георгия

Владимова, по-видимому, наследственное, от Николая Степановича – со слов отца, тот тоже писал какой-то большой роман до войны...

Еще отец вспоминал, как по дороге в эвакуацию, где-то на Кавказе, нечаянно угодил в переполненный водой арык, и его вытащил чеченский мальчишка. Отец часто говорил, что не выносит, когда кавказцев называют «черными» и считают врагами...

Рассказывал, как ходил к Михаилу Зощенко в 1946 году (после знаменитого постановления о Зощенко и Ахматовой). Пошел с другом Генкой Понариным, тоже суворовцем, и с первой любовью, девочкой Викой. Они были в белой парадной суворовской форме (надели специально парадную форму, чтобы показать свое уважение обруганному столь бесчеловечно писателю, поддержать его!), а девочка была в бело-красном платье, «цвета польских конфедератов», как говорил отец. Этот рассказ вошел в первую часть (опубликованную) романа «Долог путь до Типперэри». Зощенко был страшно напуган их визитом, и все торопился быстрее выставить за дверь. Видимо, был совершенно затравлен к этому времени нашими доблестными органами... Отец называл себя со смехом «самым юным диссидентом в истории человечества», – действительно, ему тогда было всего пятнадцать лет... Вернувшись домой, Георгий все рассказал матери. Стенки коммуналки, где они тогда жили, были очень тонкими, и кто-то из соседей не поленился и настучал на ребят... Их по очереди вызывали к следователю, лейтенанту Мякушко, и стращали по-черному: грозили исключить из училища, посадить и их самих, и родителей. Словом, добивались признания, что ребята были у Зощенко до печально известного постановления партии о Зощенко и Ахматовой, где последнюю называли блудницей. Мол, приходили просто так, по зову души...

Что ж, власти добились своего, ребята дрогнули, не захотев подставлять своих родителей, и сказали так, как от них требовали... Благодаря этому, отцу удалось закончить суворовское училище, «питомник волчат», как отец сам называл – училище носило гордое имя Дзержинского. Но Георгий Владимов не стал продолжать военную карьеру, предпочтя учебу на юридическом факультете Ленинградского университета.

В университете ему пришлось еще раз столкнуться с лейтенантом госбезопасности Мякушко, который поручил следить за моим неблагонадежным отцом его сокурснику, а потом доносить о его разговорах и замыслах. Тот оказался порядочным человеком, пришел к Владимову, рассказал о своем поручении, и спросил совета. Тот разрешил ему доносить на себя. Доносы эти они сочиняли вместе, записывая все, что приходило в голову. Вот такая была первая проба пера будущего писателя. И многие годы лейтенант кормился этими доносами, не подозревая, кто их автор.

И еще один рассказ отца запомнился мне. Он должен был составлять вторую часть романа «Долог путь до Типперэри», который отец не успел написать... Излагаю его так, как запомнила с тех пор.

В конце 1952 года была арестована мать Георгия Владимова Мария Оскаровна – по словам отца, за то, что слишком много болтала: может, за анекдот какой, или из-за еврейской темы, при том, что бабушка Маруся была до мозга костей коммунисткой – даже после возвращения из тюрьмы, даже после разоблачения культа Сталина на XX съезде она продолжала считать, что виноват Берия, а Сталин ничего не знал.

Так вот, сидит она в Большом доме в Ленинграде, ведется следствие, а тут умирает Сталин. И отец решил ее предупредить, чтобы потерпела, не клепала на себя, чтобы не признавала себя резидентом пяти разведок и прочей чуши, чтобы дело легко развалилось, – уже поговаривали о том, что многих политических заключенных будут выпускать.

А как рассказать ей о смерти Сталина? Отец придумал план: он купил килограмм фиников, из всех вынул косточки, и в один финик сунул записку, в которой ей сообщил эту важ-

ную новость. Принес передачу. Мать прочитала записку и все поняла. Не стала наговаривать на себя. Вскоре ее освободили, а потом и реабилитировали. Такая история...

Потом в нашем путешествии была Ницца, которая запомнилась почему-то разочарованием: может быть, мешал образ, созданный рассказами русских писателей и поэтов. Она оказалась какой-то излишне рабочей и деловой, до нас ей явно не было никакого дела. Слегка примирило нас с Ниццей море, или «моречко», как ласково называл его отец. Мы любовались им во время променада по набережной Ангелов, по которой бегали для моциона толстые французские граждане. Только поднявшись высоко над городом, мы увидели ту Ниццу, которую хотели увидеть, – прекрасные частные виллы с садами, увитые плющом, цветами вечной бугенвиллии.

Может быть, поэтому мы переночевали в Ницце и переместились в Монако. Поднялись на гору, чтобы полюбоваться королевским дворцом, и тут выяснилось, что у отца проблемы с сосудами – он был вынужден останавливаться почти каждые пятьдесят метров, хотя за несколько лет до этого ему уже сделали операцию в Германии, о чем он с гордостью рассказывал. Операция и почти двухнедельное пребывание в больнице были оплачены из страховой кассы. По прибытии в Германию отец вступил в сообщество свободных художников (для людей свободных профессий – музыкантов, писателей, актеров), куда отстегивал ежемесячно по 120 марок в качестве налога. Я еще тогда подумала, что у нас в России берут налоги со всего, что возможно, однако вряд ли мне такого рода операция ничего не будет стоить...

На следующее утро мы отправились дальше по Лазурному Берегу в сторону Испании. Когда мы подъехали к Барселоне отец твердо отказался от предложенного мною посещения музея Дали (оказалось, что к музеям он совершенно равнодушен! Только Джоконда в Лувре произвела на него впечатление: «Представляешь, смотрю на нее и думаю, кого она только не повидала за это время, всем одинаково улыбаясь своей потусторонней улыбкой!»)

Там, в Барселоне, я спросила его про «Верного Руслана». Отец рассказал историю появления этой, с моей точки зрения, самой пронзительной его повести – о караульной собаке. Он тогда работал в «Новом мире» у Твардовского. Приехал знакомый журналист откуда-то с севера и рассказал о пустых, заброшенных лагерях, где когда-то во славу отечества убивали и мучили. Так вот, по территории этих лагерей бегают, не уходя далеко, брошенные караульные собаки, специально обученные охранять эзков. Не просто бегают, а будто продолжают нести свою вечную службу. Отца так поразила эта картина, что он почти сразу написал рассказ. И отнес его Твардовскому. Тот прочитал и сказал, что это целая тема, не для рассказа. Отец послушал Твардовского и написал повесть. Писал несколько лет. И получился шедевр.

Кстати, оказывается, у отца в повести Руслан – кавказская овчарка, а не немецкая, как в одноименном телефильме. Фильм отцу понравился, понравился и читавший авторский текст замечательный русский актер Алексей Баталов, с которым отец был знаком через Наташу: жена Баталова, цирковая наездница Гитана, хорошо знала Наташу Кузнецову, бывшую жену Леонида Енгибарова.

В порту Барселоны стояло много роскошных и не очень яхт, которыми любовался отец. Он поделился со мной своей заветной мечтой – купить яхту. Может, найдется человек, который подарит ему ее.

Именно так нашелся в свое время ценитель творчества и спонсор отца – Борис Эрленович Гольдман. Отец был в жутком состоянии после смерти Наташи, и тут вдруг позвонил Гольдман и сказал:

– Вы когда-то помогли мне, а теперь я хочу помочь вам.

По телефону Борис Эрленович напомнил отцу об их первой встрече – в 1983 году отец уезжал в эмиграцию, приходило попрощаться много народу, среди них был молодой Борис Гольдман, который ценил классическую русскую литературу, восхищался «Тремя минутами молчания» и пришел к отцу, чтобы он подписал ему книгу на память. Это он и называл «помощью отца».

Он пригласил отца в Москву, оплатил ему пребывание в городе, помог издать четырехтомное собрание его сочинений (первое и последнее прижизненное!), а потом устроил презентацию по случаю выхода четырехтомника.

Презентация была очень солидной, проходила она в 1998 году в Москве в одном из залов Большого Кремлевского дворца. На нее Борис Гольдман пригласил много гостей: друзей и знакомых отца из других городов России, писательницу, подругу Наташи Ирину Муравьеву из Америки, славистку из Англии Светлану Макмиллан, великих русских артистов, которые были знакомы с отцом либо снимались в фильме по «Большой руде» (Станислава Любшина, Михаила Глузского, Маргариту Терехову, Ролана Быкова), известных журналистов – всего около ста пятидесяти человек. Идея была привлечь внимание общественности и властей города к основной проблеме отца – гражданство вернули, а жить негде. Позже возникшее Переделкино было единственным его пристанищем в России, но оно ему не принадлежало по закону.

Этот же Борис Гольдман помог позднее перевезти тело отца из Германии в Переделкино и похоронить на старом писательском кладбище, тем самым выполнив его последнюю волю.

Очень необычный был человек, с весьма типичной для своего времени биографией – еврейский мальчик, талантливый, разносторонний. Сумел получить четыре высших образования, поработать актером, рабочим сцены, учителем русского и литературы в школе, а в «лихие девяностые» создать свое рекламное агентство и стать весьма успешным бизнесменом.

Они часто беседовали с отцом по душам, Борис жаловался на «невыносимость бытия» в бизнесе – ему и угрожали, и подсиживали, и делали гадости, жене и сыну нельзя было выходить из дома без охраны. Он вспоминал время, когда, будучи простым учителем в школе, любил ездить на рыбалку и никого не опасался. На вопрос отца, зачем ему такая жизнь, ответил: не могу уехать, как же я оставлю в России свою коллекцию, вывезти я ее не смогу никогда – у него была огромная и очень значительная коллекция русских орденов.

По слухам, Гольдман был якобы близок к Борису Березовскому и во многом разделил его судьбу – в день похорон отца на него было совершено первое покушение, во время которого оторвало ногу его водителю. Но Борис был в это время на похоронах, рядом со мной, помогая мне не упасть в обморок, и все приговаривал: «Это Владимов меня спас!».

А второго покушения, через полгода после смерти отца, Борис Эрленович уже не пережил. Царствие ему небесное!

Так вот, возвращаясь к яхтам, – мы ходили по набережной барселонского порта и полусерьезно обсуждали, какую из этих красавиц стоит отцу прикупить. Он мечтал о небольшой яхте, чтобы было всего две каюты – для него и меня, чтобы на борту был с нами кот Мартин «гамбургской породы, черный с белым галстучком» – когда-то такой жил с отцом и Наташей на Малой Филевской. «А еще хорошо было бы, чтобы плавать всегда, почти не заходя в города, чтобы работать и писать в море, чтобы порт приписки был Барселона или Марсель. Если же я почувствую себя плохо и пойму, что мне пора, – просто открою кингстоны и пойду на корм рыбам».

Через шесть лет, когда он, смертельно больной, из последних сил собрал в Германии свои любимые книги и инструменты, загрузил все в машину и попытался вернуться в Рос-

сию – его, упавшего без сознания на руль собственного автомобиля, задержали в Любеке и вернули обратно в Нидернхаузен. Не получилось «открыть кингстоны»...

Так получилось, что на обратном пути из Испании домой, в Германию, отцу не удалось разменять крупную купюру и поздно вечером мы не смогли остановиться на ночлег, последний перед Германией. Попробовали с помощью карты, но карта не подошла, ничего не получилось. Отец пришел в ярость, а потом сказал: «Ничего, я выдержу. Поехали дальше. Я справлюсь».

Я пришла в ужас – немолодой человек, с больным сердцем, перенесшим два инфаркта. Он посмотрел на меня и сказал: «Дочка, я справлюсь, только ты меня поддерживай. Не давай мне заснуть». Я посмотрела на него, собранного и надежного, и согласилась. Ехали почти девять часов без остановки. Я вспоминала все знакомые мне песни, и читала стихи, и что-то безостановочно рассказывала. В девять утра мы были дома. Какая же Европа, оказывается, маленькая! И какая же огромная нервная сила была в моем отце, сила, которая помогала ему все выносить – и гадкие сплетни, и предательство друзей, и забвение, и завистливые уколы коллег, и обиды, и напряжение, и непонимание, и одиночество!

Потом он приехал в Москву. Был долгий путь его устройства в Переделкино: отец получил гражданство, но регистрации в столице не было. Я зарегистрировать его у себя официально не могла – юридически он не был мне отцом, ведь меня удочерил отчим. Справились. Путем сложных юридических хитросплетений, благо у него оказался еще один поклонник – толковый, интеллигентный молодой нотариус Мурзинов.

А потом стали заниматься его зрением. Я показала его доценту кафедры глазных болезней Академии последипломного образования врачей, где я тогда работала, отличному хирургу и чуткому человеку. Решили срочно его оперировать. Но появилась новая сложность: у отца было гражданство, но еще не было положенного срока для получения медицинского полиса. Мой чудесный хирург не растерялся – оформил отца как бомжа. Бомжу, оказывается, по закону не нужен полис. Отец пришел почему-то в восторг, когда я ему рассказала о его новом статусе.

Операцию он перенес прекрасно, но, в нарушение всех инструкций, через неделю стал воровато читать газеты. Причем попросил, чтобы его перевели из бокса, куда его переместил сердобольный доктор, в обычную семиместную палату. «Вы не понимаете, я хочу быть с народом. Знали бы вы, как много я узнаю нового, когда мы с мужиками дышим в курилке!» В этом весь Владимов.

Свой 70-летний юбилей 19 февраля 2001 года он предпочел не отмечать так, как было принято, в большом зале, полном друзей и не друзей, с хвалебными речами, торжественно и пафосно. Сбежал накануне в Германию. Перед отъездом я подарила ему большую пивную кружку с серебряной крышкой, на которой попросила выгравировать: «Я счастлива, что ты у меня есть. Дочка Марина. 19.02.01». Ему понравилось.

В день юбилея отец распил одну бутылку вина и пошел что-то строгать в мастерской – так он мне рассказал по телефону. «Я прекрасно провел юбилей, чудесный получился день».

Как он остался один в болезни и страдании? Отец не хотел окончательно переезжать в Россию, предпочитал жить на два дома – полгода в Нидернхаузене, полгода в Переделкине, почему-то боялся, что не сможет вернуться в Германию. Для этих страхов были причины – отец много перенес от наших доблестных органов госбезопасности.

Когда он приезжал в Россию, я переезжала к нему, чтобы помогать в быту, чтобы не было так одиноко.

Через три года после смерти Наташи отец, очень стесняясь, сказал мне, что встретил женщину, с которой хотел бы жить вместе. В Германии он познакомился с ней, она помогала ему общаться с немецкими чиновниками – это для отца было невыносимо! Евгения Сабельникова. Актриса. Самая известная ее роль – Ирина в фильме «Старые стены». Моложе его на двадцать два года. Опять очень красивая.

Одна маленькая деталь – она была замужем за богатым австрийцем, с которым давно разъехалась, но не развелась. И не собиралась. Зачем? Тогда бы она потеряла приличное содержание. Но статус любовницы ее тоже не устраивал. Женя заставила моего атеиста-отца срочно принять крещение и с ней обвенчаться. Она сама, с ее слов, была очень верующим человеком, преданной прихожанкой церкви в Висбадене, соблюдающей все посты и предписания, пела в церковном хоре и исполняла обязанности церковного старосты в своем приходе. Зачем ей было нужно это венчание? Чтобы потом приезжать с ним в Москву, где он всем мог ее представить как законную жену. Мечтала сыграть в фильме по его книгам.

Я как-то спросила отца о его отношении к Богу, вере – он говорил, что верит в высшую справедливость, к существованию Бога относился со скепсисом, как многие из его поколения. Что мы хотим – родители уже были неверующими...

Все было неплохо, Женя приезжала с отцом в Россию, мы познакомились с ней и вполне дружески общались. В Германии они жили каждый у себя, на расстоянии тридцати километров, и ездили друг к другу в гости. Иногда на несколько дней он переезжал к ней, в ее дом, потом возвращался в свою большую одинокую квартиру. Эдакий гостевой брак.

Устраивало ли его такое положение дел? Думаю, что нет – ему хотелось настоящего уюта, женской заботы и внимания. А тут было больше развлечения, походов по значным местам, знакомств с нужными людьми, особенно в Москве. Приятная игра без особых обязательств. Эти отношения продолжались около двух лет, пока он не заболел. Заболел смертельно – в Германии ему подробно объяснили стадию его болезни, назвали диагноз со всеми подробностями, предложили операцию, взяв подписку о том, что он предупрежден о риске, рассказали о сроке, который ему остался. Прооперировали. И оставили жить с этим знанием.

Женя честно отсидела при нем пять недель, навещая его в больнице, выхаживала после операции, взяв на время к себе домой, а потом позвонила мне и сказала, что очень устала. И отправила весной 2002 года ко мне в Россию.

Отец приехал измученным, слабым, почти потерявшим интерес к жизни, стал выпивать понемногу каждый день, все говорил: «Вот еще один из моего поколения ушел в небытие. Все кучнее падают бомбы». Спасал огородик.

Я убила его пить бефунгин – вытяжку из чаги, которая когда-то спасла Александра Исаевича Солженицына, о ней он писал в «Раковом корпусе», – так хотелось надеяться, что удастся спасти ее и отца!

Женя приехала на один день, а потом перебралась к родителям, ничего ему толком не объяснив. А потом снова вернулась в Германию. Я случайно обнаружила правду. Открыла шкаф-купе и не увидела ни одного ее платья. Рассказала отцу. Он, совершенно потрясенный, позвонил ей. Она лепетала что-то несуразно-жалкое по телефону: «Ты так изменился за последнее время. Я решила расстаться с тобой сейчас, чтобы осталась память о наших красивых отношениях, не хочется портить их твоим пьянством и мрачностью». Это не добавило, конечно, ему сил. В начале осени 2002 года у меня родилась дочка, я уехала к мужу, а отец вернулся в Германию. Мы перезванивались, я послала ему фотографию его внуки, которую он так и не увидел вживую. Он собирался к нам приехать – и не доехал...

Гарик Суперфин, его знакомый, а впоследствии хранитель отцовского архива в Бремене (там многие сокровища, в том числе письма Сергея Довлатова), рассказал мне о его последних днях. Отец ослабел, исхудал до неузнаваемости, еле передвигал ноги, не мог уже

готовить себе еду. Гарик говорил: «Чертовы бабы – неужели нельзя мужику сварить хотя бы кастрюлю супа!»

За неделю до его смерти, 19 октября 2003 года, Женя испугалась, сказала, что увидела его во сне. Раскаялась? Приехала и нашла отца без сознания на пороге квартиры. Перевезла в больницу, где он тихо скончался. На похоронах в Москве, куда она привезла его тело, в церкви стояла вместе с певчими и пела. А потом пела вместе с батюшкой у разверстой могилы. Говорила, что перед смертью просила у него прощения, и он ее простил с легким сердцем.

Может и простил – отец вообще как-то очень по-мужски, по-рыцарски относился к женщинам. Однажды он мне сказал дома в Нидернхаузене, когда я рвалась встать пораньше, чтобы прибраться и приготовить обед: «Зачем ты так рано встаешь? Женщина должна понежиться, помечтать, побаловать себя. Ташенька всегда нежилась до одиннадцати, а я любил вставать в шесть утра и работать».

Надеюсь, что там, на небесах, он встретился со своей Ташечкой и счастлив. И много работает.

В Переделкине отца несколько раз навещала бывшая соседка по Малой Филевской, тетя Таня, как он ее называл. Во время его приезда в 1995 году она тоже навещала его вместе с Наташей. Татьяна была женой известного писателя, дети разъехались, она нашла прибежище в церкви, – вот кто был истинно верующим человеком. Я не сразу смогла поставить отцу памятник, приезжала несколько раз в год на могилу, и каждый раз тихо радовалась – спасибо тете Тане – могила была всегда прибранной, почти без сорняков. Теперь есть памятник, и тетя Таня, как может, следит за ним. Низкий ей поклон!

Судьба отпустила нам с отцом пробыть вместе всего десять лет, вместивших в себя одно путешествие в Европу. И несколько лет приездов его в Москву. И долгих телефонных разговоров из Нидернхаузена. И замечательных дней в Переделкине. И знакомств моих со многими людьми, знавшими и любившими его. Так что я не ропщу. Я помню своего отца. Моего Георгия Владимова.

Генерал и его армия

*Простите вы, пернатые войска
И гордые сражения, в которых
Считается за доблесть честолюбие.
Все, все прости. Прости, мой ржущий конь
И звук трубы, и грохот барабана,
И флейты свист, и царственное знамя,
Все почести, вся слава, все величье
И бурные тревоги грозных войн.
Простите вы, смертельные орудья,
Которых гул несется по земле...*
Вильям Шекспир, «Отелло, венецианский мавр», акт III

Глава первая Майор Светлооков

Вот он появляется из мглы дождя и проносится, лопоча по крышам, по истерзанному асфальту – «виллис», «король дорог», колесница нашей Победы. Хлопает на ветру закиданный грязью брезент, мечутся щетки по стеклу, размазывая полупрозрачные секторы, взвихренная слякоть летит за ним, как шлейф, и оседает с шипением.

Так мчится он под небом воюющей России, погромоухивающим непрестанно громом ли надвигающейся грозы или дальнею канонадой, – свирепый маленький зверь, тупорылый и плосколобый, воющий от злой натуги одолеть пространство, пробиться к своей неведомой цели.

Подчас и для него целые версты пути оказываются непроезжими – из-за воронок, выбивших асфальт во всю ширину и налитых доверху темной жижей, – тогда он переваливает кювет наискось и жрет дорогу, рыча, срывая пласты глины вместе с травой, крутятся в разбитой колее; выбравшись с облегчением, опять набирает ход и бежит, бежит за горизонт, а позади остаются мокрые прострелянные перелески с черными сучьями и ворохами опавшей листвы, обгорелые остовы машин, сваленных догнивать за обочиной, и печные трубы деревень и хуторов, испустившие последний свой дым два года назад.

Попадаются ему мосты – из наспех ошкуренных бревен, рядом с прежними, уронившими ржавые фермы в воду, – он бежит по этим бревнам, как по клавишам, подпрыгивая с лязгом, и еще колышется и скрипит настил, когда «виллиса» уже нет и следа, только синий выхлоп дотаивает над черной водой.

Попадаются ему шлагбаумы – и надолго задерживают его, но, обойдя уверенно колонну санитарных фургонов, расчистив себе путь требовательными сигналами, он пробирается к рельсам вплотную и первым прыгает на переезд, едва прогрехочет хвост эшелона.

Попадаются ему «пробки» – из встречных и поперечных потоков, скопища ревущих, отчаянно сигналящих машин; изыбшие регулировщицы, с мужественно-девичьими лицами и матерщиною на устах, расшивают эти «пробки», тревожно поглядывая на небо и каждой приближающейся машине издали угрожая жезлом, – для «виллиса», однако ж, отыскивается проход, и потеснившиеся шоферы долго глядят ему вслед с недоумением и невнятной тоскою.

Вот он исчез на спуске, за вершиной холма, и затих – кажется, пал он там, развалился, загнанный до издыхания, – нет, вынырнул на подъеме, песню упрямства поет мотор, и нехотя ползет под колесо тягучая российская верста...

Что была Ставка Верховного Главнокомандования – для водителя, уже закаменевшего на своем сиденье и смотревшего на дорогу тупо и пристально, помаргивая красными веками, а время от времени, с настойчивостью человека, давно не спавшего, пытаюсь раскурить прилипший к губе окурок? Верно, в самом этом слове – «Ставка» – слышалось ему и виделось нечто высокое и устойчивое, вознесшееся над всеми московскими крышами, как островерхий сказочный терем, а у подножья его – долгожданная стоянка, обнесенный стеною и уставленный машинами двор, наподобие постоянного, о котором он где-то слышал или прочел. Туда постоянно кто-нибудь прибывает, кого-нибудь провожают, и течет промеж шоферов нескончаемая беседа – не ниже тех бесед, что ведут их хозяева-генералы в сумрачных тихих палатах, за тяжелыми бархатными шторами, на восьмом этаже. Выше восьмого – прожив предыдущую свою жизнь на первом и единственном – водитель Сиротин не забирался воображением, но и пониже находиться начальству не полагалось, надо же как минимум пол-Москвы наблюдать из окон.

И Сиротин был бы жестоко разочарован, если б узнал, что Ставка себя укрыла глубоко под землей, на станции метро «Кировская», и ее кабинетники разгорожены фанерными щитами, а в вагонах недвижимого поезда разместились буфеты и раздевалки. Это было бы совершенно несолидно, это бы выходило поглубже Гитлерова бункера; наша, советская Ставка так располагаться не могла, ведь германская-то и высмеивалась за этот «бункер». Да и не нагнал бы тот бункер такого трепету, с каким уходили в подъезд на полусогнутых ватных ногах генералы.

Вот тут, у подножья, куда поместил он себя со своим «виллисом», рассчитывал Сиротин узнать и о своей дальнейшей судьбе, которая могла слиться вновь с судьбою генерала, а могла и отдельным потечь руслом. Если хорошо растопырить уши, можно бы кой-чего у шоферов разведать – как вот разведал же он про этот путь заранее, у коллеги из автороты штаба. Сойдясь для долгого перекура в ожидании конца совещания, они поговорили сперва об отвлеченном – Сиротин, помнилось, высказал предположение, что, ежели на «виллис» поставить движок от восьмиместного «доджа», добрая будет машина, лучшего и желать не надо; коллега против этого не возражал, но заметил, что движок у «доджа» великоват и, пожалуй, под «виллисов» капот не влезет, придется специальный кожух наращивать, а это же горб, – и оба нашли согласно, что лучше оставить как есть. Отсюда их разговор склонился к переменам вообще – много ли от них пользы, – коллега себя и здесь заявил сторонником постоянства и, в этой как раз связи, намекнул Сиротину, что вот и у них в армии ожидаются перемены, буквально-таки на днях, неизвестно только, к лучшему оно или к худшему. Какие перемены конкретно, коллега не приоткрыл, сказал лишь, что окончательного решения еще нету, но по тому, как он голос принимал, можно было понять, что решение это придет даже не из штаба фронта, а откуда-то повыше; может, с такого высока, что им обоим туда и мыслью не добраться. «Хотя, – сказал вдруг коллега, – ты-то, может, и доберешься. Случаем Москву повидашь – кланяйся». Выказать удивление – какая могла быть Москва в самый разгар наступления – Сиротину, шоферу командующего, амбиция не позволяла, он лишь кивнул важно, а втайне решил: ничего-то коллега толком не знает, слышал звон отдаленный, а может, сам же этот звон и родил. А вот вышло – не звон, вышло и вправду – Москва! На всякий случай Сиротин тогда же начал готовиться – смонтировал и поставил неезженные покрышки, «родные», то есть американские, которые приберегал до Европы, приварил кронштейн для еще одной бензиновой канистры, даже и этот брезент натянул, который обычно ни при какой погоде не брали, – генерал его не любил: «Душно под ним, – говорил, – как в собачьей будке,

и рассредоточиться по-быстрому не дает», то есть через борта повыскакивать при обстреле или бомбежке. Словом, не так уж вышло неожиданно, когда скомандовал генерал: «Запрягай, Сиротин, пообедаем – и в Москву».

Москвы Сиротин не видел ни разу, и ему и радостно было, что внезапно сбывались давнишние, еще довоенные, планы, и беспокойно за генерала, вдруг почему-то отозванного в Ставку, не говоря уже – за себя самого: кого еще придется возить, и не лучше ли на полуторку попроситься, хлопот столько же, а шансов живым остаться, пожалуй, что и побольше, все же кабинка крытая, не всякий осколок пробьет. И было еще чувство – странного облегчения, даже можно сказать, избавления, в чем и себе самому признаться не хотелось.

Он был не первым у генерала, до него уже двое мучеников сменилось, если считать от Воронежа, а именно оттуда и начиналась история армии; до этого, по мнению Сиротина, ни армии не было, ни истории, а сплошной мрак и бестолочь. Так вот, от Воронежа – самого генерала и не поцарапало, зато под ним, как в армии говорилось, убило два «виллиса», оба раза с водителями, а один раз и с адъютантом. Вот о чем и ходила стойкая легенда: что самого не берет, он как бы заговоренный, и это как раз и подтверждалось тем, что гибли рядом с ним, буквально в двух шагах. Правда, когда рассказывались подробности, выходило немного иначе, «виллисы» эти убило не совсем под ним. В первый раз – при прямом попадании дальнобойного фугаса – генерал еще не сел в машину, призадержался на минутку на КП¹ командира дивизии и вышел уже к готовой каше. А во второй раз – когда подорвались на противотанковой mine, он уже не сидел, вылез пройтись по дороге, понаблюдать, как замаскировались перед наступлением самоходки, а водителю велел отъехать куда-нибудь с открытого места; а тот возьми и сверни в рощу. Между тем, дорога-то была разминирована, а рощу саперы обошли, по ней движение не планировалось... Но какая разница, думал Сиротин, упредил генерал свою гибель или опоздал к ней, в этом и была его заговоренность, да только на его сопровождавших она не распространялась, она лишь с толку сбивала их, она-то и была, если вдуматься, причиной их гибели. Уже подсчитали знатоки, что на каждого убитого в эту войну придется до десяти тонн истраченного металла, Сиротин же и без их подсчетов знал, как трудно убить человека на фронте. Только бы месяца три продержаться, научиться не слушаться ни пуль, ни осколков, а слушать себя, свой озноб безотчетный, который чем безотчетнее, тем верней тебе нашепчет, откуда лучше бы загодя ноги унести, иной раз из самого вроде безопасного блиндажа, из-под семи накатов, да в какой ни то канавке перележать, за ничтожной кочкой, – а блиндаж-то и разнесет по бревнышку, а кочка-то и укроет! Он знал, что спасительное это чувство как бы гаснет без тренировки, если хотя б неделю не побываешь на передовой, но этот генерал передовую не то что бы сильно обожал, однако и не брезговал ею, так что предшественники Сиротина не могли по ней слишком соскучиться, – значит, по собственной дурости погибли, себя не послушались!

С миной – ну, это смешно было. Стал бы он, Сиротин, съезжать в эту рощицу, под сень берез? Да хрена-с-два, хоть перед каждым кустом ему воткни: «Проверено, мин нет», – кто проверял, для того и нет, он свои ноги унес уже, а на твою долю, будь уверен, хоть одну «пэтээмку»² оставил в спешке; да хотя б он всю рощу пузом подмел – известное же дело, раз в год и незаряженная винтовка стреляет! Вот со снарядом было сложнее – на мину ты сам напоролся, а этот тебя выбрал, именно тебя. Кто-то неведомый прочертил ему поднебесный путь, дуновением ветерка подправил ошибку, отнес на две, на три тысячных вправо или влево, и за какие-нибудь секунды – как почувствуешь, что твой единственный, родимый, судьбой предназначенный уже покинул ствол и спешит к тебе, посвистывая, пожужживая, да ты-то его свиста не услышишь, другие услышат – и сдуру ему поклоняются. Однако зачем

¹ КП – командный пункт. Здесь и далее примечания автора.

² ПТМ – противотанковая мина.

же было ждать, не укрыться, когда что-то же задержало генерала на том КП? Да то самое, безотчетное, и задержало, вот что надо было почувствовать! В своих размышлениях Сиротин неизменно ощущал превосходство над обоими предшественниками – но, может статься, всего лишь извечное сомнительное превосходство живого над мертвым? – и такая мысль тоже его посещала. В том-то и дело, что закаяно его чувствовать, оно еще хуже сбивает с толку, прогоняя спасительный озноб; наука выживания требовала: всегда смирайся, не уставай просить, чтоб тебя миновало, – тогда, быть может, и пронесет мимо. А главное... главное – тот же озноб ему шептал: с этим генералом он войну не вытянет. Какие причины? Да если назвать их можно, то какая же безотчетность... Где-нибудь оно произойдет и когда-нибудь, но произойдет непременно – вот что над ним всегда висело, отчего бывал он часто уныл и мрачен; лишь искушенный взгляд распознал бы за его лихостью, за отчаянно-бравым, франтоватым видом скрываемое предчувствие. Где-то веревочке конец, говорил он себе, что-то долго она вьется и слишком счастливо, – и уж он мечтал отделаться ранением, а после госпиталя попасть к другому генералу, не такому заговоренному.

Вот, собственно, о каких своих опасениях – ни о чем другом – поведал водитель Сиротин майору Светлоокову из армейской контрразведки Смерш, когда тот его пригласил на собеседование, или – как говорилось у него – «кое о чем посплетничать». «Только вот что, – сказал он Сиротину, – в отделе у меня не поговоришь, вломятся с какой-нибудь хреновиной, лучше – в другом каком месте. И пока – никому ни слова, потому что... мало ли что. Ладненько?» Свидание их состоялось в недалеком от штаба леске, на опушке, там они сошлись в назначенный час, майор Светлооков сел на поваленную сосну и, сняв фуражку, подставил осеннему солнышку крутой выпуклый лоб, с красной полоскою от околыша, – чем как бы снял и свою начальственность, расположив к откровенной беседе, – Сиротина же пригласил усесться пониже, на травке.

– Давай выкладывай, – сказал он, – что тебя точит, о чем кручина у молодца? Я же вижу, от меня же не укроется...

Нехорошо было, что Сиротин рассказывал о таких вещах, которые наука выживания велит держать при себе, но майор Светлооков его тут же понял и посочувствовал.

– Ничего, ничего, – сказал он без улыбки, тряхнув энергично своими льняными пряжами, забрасывая их подальше назад, – это мы понимать умеем, всю эту мистику. Все суеверия подвержены, не ты один, командующий наш – тоже. И скажу тебе по секрету: не такой он заговоренный. Он про это вспоминать не любит и нашивок за ранения не носит, а было у него по дурости в сорок первом, под Солнечногорском. Хорошо отоварился – восемь пуль в живот. А ты и не знал? И ординарец не рассказывал? Который, между прочим, при сем присутствовал. Я думал, у вас все нараспашку... Ну, наверно, запретил ему Фотий Иванович рассказывать. И мы тоже про это не будем сплетничать, верно?... Слушай-ка, – он вдруг покосился на Сиротина веселым и пронзающим взглядом, – а может, ты мне тово... дурочку валяешь? А главное про Фотия Иваныча не говоришь, утаиваешь?

– Чего мне утаивать?

– Странностей за ним не наблюдаешь в последнее время? Учти, кой-кто уже замечает. А ты – ничего?

Сиротин подернул плечом, что могло значить и «не замечал», и «не моего ума дело», однако неясную еще опасность, касающуюся генерала, он уловил, и первым его внутренним движением было отстраниться, хотя б на миг, чтоб только понять, что могло грозить ему самому. Майор Светлооков смотрел на него пристально, взгляд его голубых пронзительных глаз нелегко было выдержать. Похоже, он разгадал смятение Сиротина и этим строгим взглядом возвращал его на место, которого обязан был держаться человек, состоящий в свите командующего, – место преданного слуги, верящего хозяину беспредельно.

– Сомнения, подозрения, всякие мерехлюндии ты мне не выкладывай, сказал майор твердо. – Только факты. Есть они – ты обязан сигнализировать. Командующий – большой человек, заслуженный, ценный, тем более мы обязаны все наши малые силы напрячь, поддерживать его, если в чем-то он пошатнулся. Может, устал он. Может, ему сейчас особое душевное внимание требуется. Он ведь с просьбой не обратится, а мы не заметим, упустим момент, потом локти будем кусать. Мы ведь за каждого человека в армии отвечаем, а уж за командующего что и говорить...

Кто были «мы», отвечающие за каждого человека в армии, он ли с майором или же весь армейский Смерш, в глазах которого генерал в чем-то «пошатнулся», этого Сиротин не понял, а спросить почему-то не решился. Ему вспомнилось вдруг, что и дружок из роты штаба тоже эти слова обронил: «пошатнулся малость», – так он, стало быть, не звон отдаленный слышал, а прямо-таки гудение земли. Похоже, генеральское пошатновение, хоть ничем еще не проявленное, уже и не новостью было для некоторых, и вот из-за чего и вызвал его к себе майор Светлооков. Разговор их становился все более затягивающим куда-то, во что-то неприятное, и смутно подумалось, что он, Сиротин, уже совершил малый шаг к предательству, согласившись прийти сюда «посплетничать».

Из глубины леса тянуло предвечерней влажной прохладой, и с нею вкрадчиво сливался вездесущий приторный смрад. Чертовы похоронщики, подумал Сиротин, своих-то подбирают, а немцев – им лень, придется генералу доложить, даст он им прикурить. Неохота было свежих подобрать – теперь носы затыкайте...

– Ты мне вот что скажи, – спросил майор Светлооков, – как он, по-твоему, к смерти относится?

Сиротин поднял к нему удивленный взгляд.

– Как все мы, грешные...

– Не знаешь, – сказал майор строго. – Я вот почему спрашиваю. Сейчас предельно остро ставится вопрос о сохранении командных кадров. Специальное указание Ставки есть, и Верховный подчеркивал неоднократно, чтоб командующие себя не подвергали риску. Слава богу, не сорок первый год, научились реки форсировать, личное присутствие командующего на переправе – ни к чему. Зачем ему было под обстрелом на пароме переправляться? Может, сознательно себя не бережет? С отчаяния какого-нибудь, со страху, что не справится с операцией? А может, и тово... ну, свих небольшой? Оно и понятно до некоторой степени – операция оч-чень все-таки сложная!..

Пожалуй, Сиротину не показалось бы, что операция была других сложнее, и развивалась она как будто нормально, однако там, наверху, откуда к нему снисходил майор Светлооков, могли быть иные соображения.

– Может быть, единичный случай? – размышлял между тем майор. – Так нет же, последовательность какая-то усматривается. Командующий армией свой КП выносит поперед дивизионных, а комдиву что остается? Еще поближе к немцу придвинуться? А полковому – прямо-таки в зубы противнику лезть? Так и будем друг перед дружкой личную храбрость доказывать? Или еще пример: ездите на передовую без охраны, без бронетранспортера, даже радиста с собой не берете. А вот так и нарываются на засаду, вот так и к немцу заскакивают. Иди потом выясняй, доказывай, что не имело места предательство, а просто по ошибке... Это же все предвидеть надо. И предупреждать. И нам с тобой – в первую очередь.

– Что ж от меня-то зависит? – спросил Сиротин с облегчением. Предмет собеседования стал ему наконец понятен и сходил с его собственными опасениями. – Шофер же маршрут не выбирает...

– Еще б ты командующему указывал!.. Но знать заранее – это в твоей компетенции, верно? Говорит же тебе Фотий Иванович минут за десять: «Запрягай, Сиротин, в сто шестнадцатую подскочим». Так?

Сиротин подивился такой осведомленности, но возразил:

– Не всегда. Другой раз в машину сядет и уж тогда путь говорит.

– Тоже верно. Но он же не в одно место едет, за день в трех-четырех хозяйствах побываете: где полчаса, а где и все два. Можешь же ты у него спросить: а куда потом, хватит ли горючего? Вот у тебя и возможность созвониться.

– С кем это... созвониться?

– Со мной, «с кем». Мы наблюдение организуем, с тем хозяйством свяжемся, куда вы в данный момент путь держите, чтоб выслали встречу. Я понимаю, командующему иной раз хочется нахрапом подъехать, застать все как есть. Так это одно другому не мешает. У нас – своя линия и своя задача. Комдив того знать не будет, когда Фотий Иванович нагрянет, лишь бы мы знали.

– А я-то думал, – сказал Сиротин, усмехаясь, – вы шпионами занимаетесь.

– Мы всем занимаемся. Но сейчас главное, чтоб ни на минуту командующий из-под опеки не выпадал. Это ты мне обещаешь?

Сиротин усиленно морщил лоб, выгадывая время. Как будто ничего плохого не было, если всякий раз, куда бы ни направились они с генералом, об этом будет известно майору Светлоокову. Но как-то корбило, что ведь придется ему сообщать скрытно от генерала.

– Это как же так? – спросил Сиротин. – От Фотия Ивановича тайком?

– Уу! – прогудел майор насмешливо. – Кило презрения у тебя к этому слову. Именно тайком, негласно. Зачем же командующего в это посвящать, беспокоить?

– Не знаю, – сказал Сиротин, – как это так можно...

Майор Светлоков вздохнул долгим печальным вздохом.

– И я не знаю. А нужно. А приходится. Так что же нам делать? Раньше вот в армии институт комиссаров был – куда как просто! Чего я от тебя уже час добиваюсь, комиссар бы мне, не думая, пообещал. А как иначе? Комиссар и контрразведчик – первые друг другу помощники. Теперь – больше доверия военачальнику, а работать стало куда сложнее. К члену Военного совета не подкатись, он тоже теперь «товарищ генерал», ему это звание дороже комиссарского, станет он такой чепухой заниматься! Ну а мы, скромные людишки, обязаны заниматься, притом – тихой сапой. Да уж, Верховный нам осложнил задачу. Но – не снял ее!

Эта печаль и озабоченность в голосе майора, и его откровенность, да и бремя задачи, исходившей не от кого-нибудь, от Верховного, – все складывалось так, что Сиротину как будто уже и не во что было упираться.

– Звонить, ведь оно, знаете... У связиста линия занята. А когда и свободна, тоже так просто не соединит. Ему и сообщить же надо, куда звонишь. Так до Фотия Ивановича дойдет. Нет, это...

– Что «нет»? – Майор Светлоков приблизил к нему лицо. Он враз повеселел от такой наивности Сиротина. – Ну чудак же ты! Неужели так и попросишь: «А соедини-ка меня с майором Светлоковым из Смерша?» Не-ет, так мы все дело провалим. Но можно же по холостой части. В смысле – по бабей. Эта линия всегда выручит. Ты Калмыкову из трибунала знаешь? Старшую машинистку.

Сиротину вспомнилось нечто рыхлое, чересчур грудастое и, на его двадцатишестилетний взгляд, сильно пожилое, с непреклонно начальственным лицом, с тонко поджатыми губами, властно покрикивающее на двух подчиненных барышень.

– Что, не объект для страсти? – Майор улыбнулся быстро порозовевшим лицом. – Вообще-то на нее охотники имеются. Даже хвалят. Что поделаешь, любовь зла! К тому же, у нас не женский монастырь. Вот в Европу вступим – не в этот год, так в следующий, – там такие монастыри имеются, специально женские. Точней сказать, девичьи. Потому как

монашки эти, «кармелитки» называются, клятву насчет девственности дают – до гроба. Во, какая жертва! Так что невинность гарантируется. Бери любую – не ошибешься.

Сверхсуровые эти «кармелитки», в сиротинском воображении соотнесясь почему-то с «карамельками», выглядели куда как маняще и сладостно. Что же до той, грудастой, все-таки не представилось ему, как бы он стал приударять за ней или хотя бы трепаться по телефону.

– Зер гут, – согласился майор. – Избираем другой вариант. Как тебе Зочка? Не та, не из трибунала, а которая в штабе телефонисткой. С кудряшками.

Вот эти пепельные кудряшки, свисавшие из-под пилотки спиральками на выпуклый фаянсовый лобик, и взгляд изумленный – маленьких, но таких ярких, блестящих глаз, – и ловко пригнанная гимнастерка, расстегнутая на одну пуговку, никогда не на две, чтоб не нарваться на замечание, и хромовые, пошитые на заказ сапожки, и маникюр на тонких пальчиках – все было куда поближе к желаемому.

– Зочка? – усомнился Сиротин. – Так она же вроде с этим... из оперативного отдела. Чуть не жена ему?

– У этого «чуть» одно тайное препятствие имеется – супруга законная в Барнауле. Которая уже письмами политотдел бомбит. И двое отпрысков нежных. Тут придется какие-то меры принимать... Так что Зочка не отпадает, советую заняться. Подкатись к ней, наведи переправы. И – звони ей откуда только можно. Что, тебя связист не соединит? Шофера командующего? Дело ж понятное, можно сказать – неотложное. Ты только – понахальнее, место свое в армии нужно знать. В общем, ты ей: «Трали-вали, как вы спали?» – и, между прочим, так примерно: «К сожалению, времени в обрез, через часик, ждите, от Иванова звякну». Много болтают по связи, одним трепом больше... Ну, и это не обязательно, мы в дальнейшем шифр установим, на каждое хозяйство свой пароль. Что тебе еще не ясно?

– Да как-то оно...

– Что «как-то»? Что?! – вскричал майор сердито. И Сиротину не показалось странным, что майор уже вправе и осерчать на него за непонятливость, даже отчитать гневно. – Для себя я, по-твоему, стараюсь? Для сохранения жизни командующего! И твоей, между прочим, жизни. Или ты тоже смерти ищешь?!

И он в сердцах, со свистом, хлестнул себя по сапогу невесть откуда взявшимся прутиком – звук как будто ничтожный, но заставивший Сиротина внутренне съежиться и ощутить холодок в низу живота, тот унылый мучительный холодок, что появляется при свисте снаряда, покинувшего ствол, и его шлепке в болотное месиво – звуках самых первых и самых страшных, потому что и грохот лопающейся стали, и фонтанный всплеск вздымающейся трясины, и треск ветвей, срезанных осколками, уже ничем тебе не грозят, уже тебя миновало. Этот дотошный, прилипчивый, всепроникающий майор Светлооков углядел то, что сидело в Сиротине и не давало жить, но он же углядел и большее: что с генералом и впрямь происходит что-то опасное, гибельное – и для него самого, и для окружающих его. Когда, стоя во весь рост на пароме в заметной своей черной кожанке, он так картинно себя подставлял под пули с правого берега, под пули пикирующего «Юнкерса», это не бравада была, не «пример личной храбрости», а то самое, что время от времени постигало иных и называлось – человек ищет смерти.

Вовсе не в отчаянном положении, не в кольце охвата, не под дулами заградотряда, но часто в успешном наступлении, в атаке человек делал бессмысленное, непостижимое: бросался врукопашную один против пятерых, или, встав во весь рост, бросал одну за другой гранаты под движущийся на него танк, или, подбежав к пулеметной амбразуре, лопаткой рубил прыгающий ствол и почти всегда погибал. Опытный солдат, он отметал все шансы уклониться, выждать, как-нибудь исхитриться. Было ли это в помешательстве, в ослепляющем запале, или так источил ему душу многодневный страх, но слышали те, кто оказывались поблизости, его крик, вмещавший и муку, и злобное торжество, и как бы освобождение... А

накануне – как припоминали потом, а может быть, просто выдумывали – бывал этот человек неразговорчив и хмур, жил как-то невпопад, озирался непонятным, в себя упрятым взглядом, точно уже провидел завтрашнее. Сиротин этих людей не мог постичь, но то, что их повлекло умереть так поспешно, было, в конце концов, их дело, они за собой никого не звали, не тащили, а генерал и звал, и тащил. Чего ему, спрашивается, не сиделось в скорлупе бронетранспортера, который был же рядом на пароме? И не подумалось ему, что так же картинно под те же пули подставляли себя и люди, обязанные находиться при нем неотлучно? Но вот нашелся же один, кто все понял, разглядел юрким глазом генеральские игры со смертью и пресечет их своим вмешательством. Как это ему удастся, ну вот хотя бы как ответит он в небе шальной снаряд, почему-то Сиротина не озадачивало, как-то само собою разумелось, хотелось лишь всячески облегчить задачу этому озабоченному всесильному майору, рассказать поподробнее о странностях генеральского поведения, чтобы учел в каких-то своих расчетах.

Майор его слушал не перебивая, понимающе кивал, иной раз вздыхал или цокал языком, затем далеко отшвырнул свой прут и передвинул на колени планшетку. Развернув ее, стал разглядывать какой-то листок, упрятанный под желтым целлулоидом.

– Так, – сказал он, – на этом покамест закруглимся. На-ка вот, распишись мне тут.

– Насчет чего? – споткнулся разлетевшийся Сиротин.

– Насчет неразглашения. Разговор у нас, как ты понимаешь, не для любых ушей.

– Так... зачем же? Я разглашать не собираюсь.

– Тем более, чего ж не расписаться? Давай не ломайся.

Сиротин, уже взяв карандашик, увидел, что расписаться ему следует в самом низу листка, исписанного витиеватым изящным почерком, наклоненным влево.

– Тезисы, – пояснил майор. – Это я схему набросал, как у нас примерно пойдет беседа. Видишь – сошлось, в общем и целом.

Сиротина удивило это, но отчасти и успокоило. В конце концов, не сообщил он этому майору ничего такого, чего тот не знал заранее. И он расписался нетвердыми пальцами.

– И всего делов. – Майор, усмехаясь Сиротину, застегнул аккуратно планшетку, откинул ее за спину и встал. – А ты, дурочка, боялась. Пригладь юбку, пошли.

Он вышагивал впереди, крепко переступая налитыми, обтянутыми мягким хромом ногами балетного танцовщика, планшетка и пистолет елозили и подпрыгивали на его крутых ягодицах, и у Сиротина было то ощущение, что у девицы, возвращающейся из лесу вслед за остывшим уже соблазнителем и которая тем пытается умерить уязвление души, что сопротивлялась как могла.

– А кстати, – майор вдруг обернулся, и Сиротин едва не налетел на него, – раз уже нас на эти темы клонит... Может, ты мне сон объяснишь? Умеешь сны отгадывать? Значит, прижал я хорошего бабца в подходящей обстановке. В уши ей заливаю – про сирень там, про Пушкина-Лермонтова, а под юбкой шурую вежливо, но неотвратимо, с честными намерениями. И все, ты понимаешь, чинненько, вот-вот до дела дойдет. Как вдруг – ты представляешь? – чувствую: мужик! Мать честная, с мужиком это я обжимался, чуть боекомплект не растратил. Что скажешь? В холодном поту просыпаюсь. И к чему бы это?

Сиротин, ошарашенный, распяливал лицо глупой и жаркой ухмылкой. Майор смотрел на него, вылупив простодушно голубые свои глаза и полуоткрыв рот. Не дождавшись ответа, он двинулся дальше, сам себе отвечая:

– А я так думаю – пора эту войну кончать. Скорей по домам – своих баб щупать. А то, наблюдаю, у всех уже шарики за кубики заходят.

Там, где тропинка впадала в просеку и где могли бы их увидеть вместе, он снова остановился.

– Ну, тебе направо, мне налево. Вот что я тебе скажу, Сиротин. Ты это, о чем мы условились, не рассматривай, как будто тебя употребили. У меня ведь в желающих сотрудничать недостатка нет. Так что я это тебе доверил как честь. Вижу, тебя коробит что-то. Понимаю. Но ничего, привыкнешь. Ты все обдумай как следует, прикинь, план себе наметь, как будешь со мной работать. И приступай. Покеда!

Приступить Сиротину, однако ж, не выпало повода. Не пришлось никуда ездить с генералом – в последние дни тот сиднем засел в своем убежище, которое выбрал сразу после переправы, отдельно от штаба армии, в разбитом вокзальчике станции Спасо-Песковцы, и к нему туда подъезжали с докладами и из штаба, и с левого берега, и со всего плацдарма, теперь до того разросшегося, что его все реже называли плацдармом. Сиротин же только дежурил у «виллиса», и постепенно то мутное, гадливое ощущение, что испытал он в леске, рассеивалось, сменяясь избавительной надеждой, что надобность в нем у майора Светлоокова, может статься, уже и отпала.

Оно явилось опять, это ощущение, когда майор Светлооков, проходя по каким-то своим делам к генералу, призадержался возле Сиротина и, ткнув его легонько пониже груди своей планшеткой, весело пожурил:

– Ты что ж это мне девку изводишь? Жалуетесь мне на тебя.

– Какую девку?

– «Какую»! Зочку. Охмурил, а не звонишь. Столько, говорит, я в него души вложила, а он прохиндеем оказался.

– Так ведь... об чем говорить пока?

– Вот, еще научи его, о чем с прекрасным полом беседуют. Ты позвони, а там видно будет. Позвони, позвони, не стесняйся.

И прошел, весело оглядываясь на оторопевшего Сиротина, заговорщицки подмигивая.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.